

A close-up, high-contrast photograph of a person's eye. The eye is looking directly at the camera, and a single tear is visible on the lower eyelid. The lighting is dramatic, with strong highlights and deep shadows, creating a somber and intense atmosphere. The background is dark and out of focus.

**АЛЕКСАНДР ДЮМА**

**ВИКОНТ  
ДЕ БРАЖЕЛОН,  
ИЛИ  
ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ.  
ТОМ 3**

Три мушкетера

Александр Дюма

**Виконт де Бражелон, или  
Десять лет спустя. Том 3**

«Public Domain»

1847

## **Дюма А.**

Виконт де Бражелон, или Десять лет спустя. Том 3 / А. Дюма — «Public Domain», 1847 — (Три мушкетера)

Третий роман, отображающий события, происходящие во время правления короля Людовика XIV во Франции, из знаменитой историко-приключенческой трилогии («Три мушкетера» (1844), «Двадцать лет спустя» (1845), «Виконт де Бражелон», (1848–1850), которая связана общностью главных героев Атоса, Портоса, Арамиса и Д'Артаньяна, жаждущих романтики и подвигов.

## Содержание

Часть пятая	5
I. Тут становится очевидным, что если нельзя сторговаться с одним, то ничего не мешает сторговаться с другим	5
II. Шкура медведя	12
III. У вдовствующей королевы	17
IV. Подруги	23
V. Как Жан де Лафонтен написал свою первую басню	28
VI. Лафонтен ведет переговоры	31
VII. Столовое серебро и брильянты госпожи де Бельер	36
VIII. Расписка кардинала Мазарини	39
IX. Черновик Кольбера	44
X. Автору кажется, что пора вернуться к виконту де Бражелону	50
XI. Бражелон продолжает расспрашивать	54
XII. Две ревности	58
XIII. Обыск	62
XIV. Метод Портоса	66
XV. Переезд, люк и портрет	71
XVI. Политические соперники	78
XVII. Соперники в любви	82
XVIII. Король и дворянство	87
XIX. Продолжение грозы	92
XX. Горе несчастному!	96
XXI. Рана на ране	99
XXII. То, о чем догадался Рауль	103
XXIII. Три сотрапезника, крайне пораженные тем обстоятельством, что сошлись вместе за ужином	107
XXIV. О том, что происходило в Лувре, пока ужинали в Бастилии	111
XXV. Политические соперники	116
Конец ознакомительного фрагмента.	120

# Александр Дюма

## Виконт де Бражелон, или Десять лет спустя. Том 3

### Часть пятая

#### **I. Тут становится очевидным, что если нельзя сторговаться с одним, то ничего не мешает сторговаться с другим**

Арамис угадал: выйдя из отеля на площади Бодуайе, герцогиня де Шеврез приказала ехать домой.

Она, несомненно, боялась, что за нею следят, и хотела таким способом отвести от себя подозрения. Однако, возвратившись к себе и удостоверившись, что никто за нею не следит, она велела открыть калитку в саду, выходящую в переулок, и отправилась на улицу Круа-де-Пти-Шан, где жил Кольбер.

Мы сказали, что наступил вечер, – правильнее сказать, наступила ночь, и притом непроглядная. Притихший Париж обволакивал снисходительной тьмой и знатную герцогиню, плетущую свою политическую интригу, и безвестную горожанку, которая, запоздав после ужина в городе, под руку со своим любовником возвращалась под супружеский кров самой длинной дорогой. Г-жа де Шеврез достаточно привыкла к тому, что можно назвать «ночной политикой», и ей было отлично известно, что министры никогда не запираются даже у себя дома от молодых и прелестных женщин, страшящихся пыли служебных канцелярий, а также от пожилых и многоопытных дам, страшящихся нескромного эха министерств.

У подъезда герцогиню встретил лакей, и, по правде сказать, встретил довольно плохо. Рассмотрев посетительницу, он даже позволил себе заметить, что в такой час и в таком возрасте не пристало отрывать г-на Кольбера от трудов, которым он предается перед отходом ко сну.

Но герцогиня де Шеврез, не выказав гнева, написала на листке, вырванном из записной книжки, свое имя – громкое имя, не раз неприятно поражавшее слух Людовика XIII и великого кардинала.

Она написала это имя крупным и небрежным почерком, обычным тогда среди знати, сложила бумагу особым, ей одной свойственным образом и вручила ее лакею без единого слова, но с таким величавым видом, что этот прожженный плут, умевший чутко господ на расстоянии, узнал в ней знатную даму, опустил голову и побежал с докладом к Кольберу.

Можно не добавлять, что, вскрыв записку, министр не удержался от легкого восклицания, и этого восклицания лакею было достаточно, чтобы понять, насколько серьезно следует отнестись к таинственной гостье: он пустился бегом за герцогиней.

Она с некоторым трудом поднялась на второй этаж красивого нового дома, задержалась на мгновение на площадке, чтобы отдышаться, и вошла к Кольберу, который сам распахнул перед ней двери.

Герцогиня остановилась на пороге, чтобы получше рассмотреть того, с кем ей предстояло вести дело. Тяжелая, крупная голова, густые брови, неприветливое лицо, как бы придавленное ермолкой, похожей на те, какие носят священники, – все это с первого взгляда внушило ей мысль, что переговоры не составят труда и что вместе с тем спор о той или иной частности

будет лишен всякого интереса, ибо такая грубая натура должна быть, по-видимому, малочувствительной к утонченной мести и к ненасытному честолюбию.

Но когда герцогиня пригляделась внимательнее к его маленьким, черным, пронизывающим насквозь глазкам, к продольным складкам на его суровом выпуклом лбу, к едва приметному подергиванию губ, которые лишь на крайне поверхностных наблюдателей производили впечатление добродушия, она переменяла свое мнение о Кольбере и подумала: «Вот тот, кого я искала».

– Чему обязан я честью вашего посещения, сударыня? – спросил интендант финансов.

– Причина всему – нужда, сударь, нужда, которую я имею в вас, а вы – во мне.

– Счастлив, сударыня, выслушать первую часть вашей фразы; что же до второй ее части...

Госпожа де Шеврез села в кресло, которое ей пододвинул Кольбер.

– Господин Кольбер, ведь вы интендант финансов?

– Да, сударыня.

– И вы хотели бы стать суперинтендантом, не так ли?

– Сударыня!

– Не отрицайте: это затянет наш разговор и ни к чему больше не поведет; это бессмысленно.

– Но, сударыня, несмотря на мое искреннее желание доставить вам удовольствие, несмотря на учтивость, которую я обязан проявлять к даме вашего положения, ничто не могло бы заставить меня признаться, будто я стараюсь сесть на место моего начальника.

– Я вовсе не говорила о том, что вы хотите «сесть на место своего начальника», сударь. Разве что я нечаянно произнесла эти слова. Не думаю, впрочем. Слово «заменить» звучит менее жестко и грамматически здесь уместнее, как говаривал господин Вуатюр. Итак, я утверждаю, что вы хотели бы заменить господина Фуке.

– Но фортуна господина Фуке, сударыня, устоит перед любым испытанием. Суперинтендант – это Колосс Родосский нашего века; корабли проплывают у него под ногами, но они даже не задевают его.

– Я бы тоже охотно воспользовалась этим сравнением. Да, господин Фуке играет роль Колосса Родосского; но мне помнится, я слыхала, как рассказывал господин Конрар... кажется, академик... что, когда Колосс Родосский упал, купец, который свалил его... простой купец, господин Кольбер... нагрузил его обломками четыре сотни верблюдов. Купец! А ведь ему далеко до интенданта финансов.

– Сударыня, могу вас уверить, что я никогда не свалю господина Фуке.

– Ну, господин Кольбер, раз вы упорствуете и продолжаете изображать чувствительность, как будто не зная, что меня зовут госпожой де Шеврез и что я стара, иначе говоря, что вы имеете дело с женщиной, которая была политической противницей кардинала Ришелье и у которой не остается времени, чтобы терять его попусту, – раз вы допускаете подобную неосмотрительность, я найду людей более проницательных и более заинтересованных в том, чтобы добиться удачи.

– В чем же, сударыня, в чем?

– Вы заставляете меня быть очень низкого мнения о нынешних людях, сударь. Клянусь вам, если бы в мое время какая-нибудь женщина явилась к господину де Сен-Мару, который, впрочем, не был семи пядей во лбу, клянусь, если б она сказала о кардинале все то, что я только что сказала вам о господине Фуке, господин де Сен-Мар уже ковал бы железо.

– Но будьте немножко снисходительнее, сударыня.

– Значит, вы согласны заменить господина Фуке?

– Если король уволит господина Фуке, разумеется.

– Снова вы говорите лишнее. Ясно, что раз вы еще не добились его отставки, значит, вы не могли этого сделать. Поэтому я была бы круглой душой, если б, идя сюда, не принесла с собою того, чего вам не хватает.

– Я в отчаянии, что вынужден упорно стоять на своем, – сказал Кольбер после молчания, которое дало возможность герцогине оценить всю его скрытность, – но я должен поставить вас в известность, сударыня, что вот уже добрых шесть лет на господина Фуке поступает донос за доносом, а положение суперинтенданта нисколько не поколеблено.

– Всему свое время, господин Кольбер; разоблачавшие господина Фуке не носили имени де Шеврез и не имели в своем распоряжении доказательств, равноценных шести письмам кардинала Мазарини, неопровержимо устанавливающим правонарушение, которое я имею в виду.

– Правонарушение?

– Преступление, если это слово вам более по душе.

– Преступление? Совершенное господином Фуке?

– Вот именно... Странно, господин Кольбер, странно: у вас обычно такое холодное и непроницаемое лицо, а сейчас, я вижу, вы прямо сияете.

– Преступление?

– Я в восторге, что это произвело на вас впечатление.

– О, сударыня, ведь это слово заключает в себе столь многое!

– Оно заключает в себе приказ о суперинтендантстве для вас и приказ об изгнании для господина Фуке.

– Простите меня, герцогиня: почти невозможно, чтобы господин Фуке подвергся изгнанию; арест, опала – это уж слишком!

– О, я знаю, что говорю, – холодно продолжала г-жа де Шеврез. – Я живу не так уж далеко от Парижа, чтобы не знать, что здесь творится. Король не любит господина Фуке и охотно погубит его, если ему дадут к этому повод.

– Надо, однако, чтобы повод был подходящим.

– Мой повод вполне подходящий. Поэтому-то я и оцениваю его в пятьсот тысяч ливров.

– Что это значит? – спросил Кольбер.

– Я хочу сказать, сударь, что, имея в руках этот повод, я передам его в ваши руки только в обмен на пятьсот тысяч ливров.

– Отлично, герцогиня, я понимаю. Но поскольку вы назначили продажную цену, ознакомьте меня с вашим товаром.

– О, это не составит труда; шесть писем кардинала Мазарини, как я сказала; автографы эти, конечно, не стоили б таких денег, если б они не устанавливали с полной очевидностью, что господин Фуке присвоил крупные казенные суммы.

– С полной очевидностью? – спросил Кольбер, и глаза его радостно заблестали.

– С полной очевидностью. Не хотите ли прочитать эти письма?

– Всей душой! Само собой, копии?

– Само собой, копии.

Герцогиня извлекла спрятанный у нее на груди небольшой сверток, слегка примятый ее бархатным корсажем.

– Читайте, – подала она бумаги.

Кольбер жадно набросился на них.

– Чудесно! – сказал он, закончив чтение.

– Достаточно ясно, не правда ли?

– Да, герцогиня, да; значит, кардинал Мазарини передал деньги господину Фуке, а господин Фуке оставил их у себя; но какие, собственно, деньги имеются тут в виду?

– В том-то и дело! Впрочем, если мы договоримся, я присоединю к этим шести еще седьмое письмо, которое окончательно осведомит вас обо всем.

Кольбер размышлял.

– А подлинники?

– Бесплезный вопрос. Это все равно, как если бы, господин Кольбер, я спросила у вас, будут ли полными или пустыми мешочки с золотыми монетами, которые вы мне вручите.

– Прекрасно, герцогиня.

– Значит, сделка заключена?

– Нет еще.

– Как же так?

– Есть одна вещь, о которой ни вы, ни я не подумали.

– Назовите ее.

– При всех обстоятельствах господина Фуке может погубить только процесс.

– Да.

– И публичный скандал.

– Да. Ну так что же?

– А то, что ни процесса, ни скандала не будет.

– Почему же?

– Потому, что дело идет о генеральном прокуроре парламента; потому, что у нас во Франции все, решительно все: администрация, армия, юстиция, торговля, – все связано цепью взаимного благожелательства, которое зовется корпоративным духом. Поэтому, сударыня, парламент никогда не потерпит, чтобы его глава был отдан под суд. И если бы это случилось, даже по приказанию короля, парламент никогда не осудит своего генерального прокурора.

– По правде сказать, господин Кольбер, это меня не касается.

– Я знаю, сударыня. Но меня-то это, конечно, касается и снижает цену того, что вы принесли. К чему мне доказательства преступления, если оно не подлежит наказанию?

– Но если на Фуке падут подозрения, то и в этом случае он будет отстранен от обязанностей суперинтенданта.

– Велика важность! – воскликнул Кольбер, и его мрачное лицо как-то вдруг осветилось выражением ненависти и мести.

– Ах, господин Кольбер, простите меня, – заметила герцогиня, – я не знала, что вы столь впечатлительны. Хорошо, превосходно. Но раз вам мало того, что у меня есть, прекратим разговор.

– Нет, сударыня, продолжим его. Но поскольку цена товара упала, ограничьте и вы свои притязания.

– Вы торгуетесь?

– Это необходимо всякому, кто хочет честно платить.

– Сколько же вы предлагаете?

– Двести тысяч ливров.

Герцогиня рассмеялась ему в лицо, но затем внезапно сказала:

– Подождите.

– Вы соглашаетесь?

– Нет, не совсем. Но у меня есть еще одна комбинация.

– Говорите.

– Вы даете мне триста тысяч ливров.

– Нет, нет!

– Соглашайтесь или нет, как угодно. И это не все.

– Еще что-нибудь? Вы становитесь невозможной, герцогиня.

– Вовсе нет, я больше не прошу у вас денег.

– Чего же вы хотите?

– Услуги. Вы знаете, что я всегда была нежно привязана к королеве.

– И...

– И... я хочу повидаться с ее величеством.

– С королевой?

– Да, господин Кольбер, с королевой, которая мне больше не друг, это верно, и уже давно мне не друг, но может снова сделаться другом, если мне предоставят соответствующую возможность.

– Ее величество, герцогиня, никого больше не принимает. Вам известно, что приступы ее болезни повторяются все чаще и чаще.

– Вот потому-то я и должна повидать королеву. Представьте себе, что у нас во Фландрии заболевания подобного рода – вещь очень частая.

– Рак? Страшная, неизлечимая, роковая болезнь.

– Не верьте этому, господин Кольбер. Фламандский крестьянин – человек первобытный. У него не жена, а рабыня.

– Что же из этого?

– Пока он покуривает свою вечную трубку, жена работает: она черпает из колодца воду, она нагружает мула или осла, она таскает на себе тяжести. Так как она не жалеет себя, то постоянно наносит себе ушибы. К тому же ей частенько достаются побои. А рак происходит от телесного повреждения.

– Это верно.

– Фламандки, однако, не умирают от этого. Когда их страдания становятся им окончательно невмоготу, они находят лекарство. И бегинки в Брюгге изумительно лечат эту болезнь. У них есть целебные воды, настойки, втирания: они дают больной бутылку с водой и свечу и, продавая свои товары, приносят доход духовенству и вместе с тем служат богу. Ее величество выздоровеет и поставит столько свечей, сколько найдет для себя подобающим. Вы видите, господин Кольбер, что помешать моему свиданию с королевой – это почти то же, что царевубийство.

– Герцогиня, вы слишком умная женщина, вы сбиваете меня с толку. Я догадываюсь, однако, что ваша великая любовь к королеве объясняется и кое-какой личной выгодой, которую вы рассчитываете извлечь из свидания с нею.

– Разве я стремлюсь утаить это? Вы, кажется, сказали: кое-какую выгоду? Знайте же, что не кое-какую, а очень большую выгоду, и я вам докажу это в немногих словах. Если вы введете меня к ее величеству королеве, мне будет довольно тех трехсот тысяч, которые я потребовала у вас; если же вы мне в этом откажете, я оставляю у себя письма и отдаю их только в случае немедленной выплаты пятисот тысяч.

С этими словами герцогиня решительно встала, оставив Кольбера в неприятном раздумье. Продолжать торговаться было немислимо; прекратить торг – значило потерять бесконечно много.

– Сударыня, – поклонился он, – я буду иметь удовольствие выплатить вам сто тысяч эю.

– О! – воскликнула герцогиня.

– Но как я получу от вас подлинники?

– Самым что ни на есть простым способом, дорогой господин Кольбер... Кому вы достаточно доверяете?

Суровый финансист принялся беззвучно смеяться, и его широкие черные брови на желтом лбу поднимались и опускались, как крылья летучей мыши.

– Никому, – сказал он.

– Но вы, конечно, делаете исключение для себя самого?

– Что вы хотите этим сказать, герцогиня?

– Я хочу сказать, что если бы вы взяли на себя труд отправиться вместе со мною туда, где находятся письма, они были бы вручены лично вам, и вы могли бы пересчитать и проверить их.

– Это верно.

– Вам следует взять с собой сто тысяч экю, потому что и я также не верю никому, кроме себя.

Кольбер покраснел до бровей. Подобно всем тем, кто превосходит других в искусстве счисления, он был честен до мелочности.

– Сударыня, – заявил он, – я возьму с собой обещанную сумму в виде двух чеков, по которым вы сможете получить ее в моей кассе. Удовлетворит ли вас такой способ расчета?

– Как жаль, что каждый из ваших чеков не стоит миллиона, господин интендант!.. Итак, я буду иметь честь указать вам дорогу.

– Позвольте распорядиться, чтоб заложили моих лошадей.

– Внизу меня ожидает карета.

Кольбер кашлянул в нерешительности. Ему вдруг представилось, что предложение герцогини – ловушка, что, быть может, у дверей его поджидают враги и что эта дама, предложившая продать ему свою тайну за сто тысяч экю, предложила ее за ту же сумму и г-ну Фуке.

Он так медлил, что герцогиня пристально посмотрела ему в глаза:

– Вы предпочитаете собственную карету?

– Признаться, да.

– Вы думаете, что я завлекаю вас в западню?

– Герцогиня, у вас капризный характер, а я, будучи человеком характера положительного, боюсь быть скомпрометированным какой-нибудь злой шуткой.

– Короче говоря, вы боитесь? Хорошо, поезжайте в своей карете, берите с собой столько лакеев, сколько вам будет угодно... Только подумайте: то, что мы делаем с вами наедине, известно лишь нам обоим, то, что увидит кто-нибудь третий, станет известно всему свету. В конце концов, я не настаиваю; пусть моя карета едет следом за вашей, и я буду рада пересестись в вашу, чтобы отправиться к королеве.

– К королеве?

– А вы уже позабыли? Как! Столь существенное условие нашего договора уже предано вами забвению! Каким же пустяком оно было для вас! Господи боже! Да если б я знала об этом, я спросила бы с вас вдвое больше.

– Герцогиня, я передумал. Я не поеду с вами.

– Правда?.. Почему?

– Потому, что мое доверие к вам безгранично.

– Мне это лестно слышать от вас... Но как же я получу свои сто тысяч экю?

– Вот они.

Интендант нацарапал несколько слов на бумажке и отдал ее герцогине.

– Вам уплачено, – сказал он.

– Ваш жест красив, господин Кольбер, и я воздам вам за него тем же.

Произнося эти слова, она засмеялась. Смех герцогини де Шеврез был похож на зловещий шепот, и всякий, кто ощущает в своем сердце трепетание молодости, веры, любви, – короче говоря, жизнь, предпочел бы услышать скорее стенания, чем это жалкое подобие смеха.

Герцогиня расстегнула корсаж и вынула небольшой сверток, перевязанный лентой огненного цвета. Крючки уступили порывистым движениям ее нервных рук, и глазам интенданта, заинтересованного этими странными приготовлениями, открылась бесстыдно обнаженная, покрасневшая грудь, натертая свертком. Герцогиня продолжала смеяться.

– Возьмите, – сказала она, – эти письма написаны самим кардиналом. Они – ваши, и, кроме того, герцогиня де Шеврез сооблаговостила раздеться пред вами, как если б вы были... но я не хочу называть имена, которые могли бы заставить вас возгордиться или приревновать. А теперь, господин Кольбер, – продолжала она, поспешно застегивая платье, – ваша карьера сделана; везите же меня к королеве.

– Нет, сударыня. Если вы снова навлечете на себя немилость ее величества и во дворце будут знать, что я – тот, кто ввел вас в ее покои, королева не простит мне этого до конца своих дней. Во дворце найдутся преданные мне люди, которые и введут вас туда, оставив меня в стороне от этого дела.

– Как вам будет угодно, лишь бы я смогла проникнуть к королеве.

– Как зовут брюггских монахинь, которые лечат больных?

– Бегинками.

– Итак – отныне вы бегинка.

– Согласна. Но все же мне придется перестать быть бегинкою.

– Это уж ваша забота.

– Ну нет, извините. Я вовсе не хочу, чтобы передо мной захлопнули двери.

– И это ваша забота, сударыня. Я прикажу старшему камердинеру дежурного офицера ее величества впустить во дворец бегинку с лекарством, способным облегчить страдания королевы. Вы получите от меня пропуск, но лекарство и объяснения – об этом подумайте сами. Я признаю, что послал к королеве бегинку, но отрекись от госпожи де Шеврез.

– На этот счет будьте покойны, до этого не дойдет.

## II. Шкура медведя

Кольбер вручил герцогине пропуск и чуть-чуть отодвинул кресло, за которым она стояла, как за укрытием.

Госпожа де Шеврез слегка кивнула и вышла.

Кольбер, узнав почерк Мазарини и пересчитав письма, позвонил секретарю и велел вызвать советника парламента, г-на Ванеля. Секретарь ответил, что советник, верный своим привычкам, только что прибыл, дабы доложить интенданту о наиболее важном в сегодняшней работе парламента.

Кольбер приблизился к лампе и перечел письма покойного кардинала; он несколько раз улыбнулся, убеждаясь все больше и больше в ценности документов, переданных ему г-жой де Шеврез, и, подперев свою тяжелую голову обеими руками, на несколько минут предался размышлениям.

В это время в кабинет вошел высокий, плотного сложения человек с худым лицом и хищным носом. Он вошел со скромной уверенностью, свидетельствующей о гибком и вместе с тем твердом характере, гибком по отношению к господину, который может доставить добычу, и твердом – по отношению к тем собакам, которые могли бы оспаривать у него этот столь лакомый кусок.

Под мышкой у Ванеля была папка больших размеров; он положил ее на бюро, около которого сидел Кольбер.

– Здравствуйте, господин Ванель, – сказал Кольбер, отрываясь от своих дум.

– Здравствуйте, монсеньор, – непринужденно ответил Ванель.

– Надо говорить «сударь», – мягко поправил Кольбер.

– Обращаясь к министрам, говорят «монсеньор», – невозмутимо заметил Ванель. – Вы – министр!

– Пока еще нет!

– Я называю вас монсеньором. Впрочем, вы мой начальник, вы мой сеньор, чего же больше! Если вам не нравится, чтобы я величал вас таким образом в присутствии посторонних, позвольте называть вас монсеньором наедине.

Кольбер поднял голову на высоту лампы и прочел или попытался прочесть на лице Ванеля, насколько искренним было это выражение преданности. Но советник умел выдержать любой взгляд, даже если этот взгляд был взглядом министра.

Кольбер вздохнул. Он не увидел на лице Ванеля ничего определенного; быть может, Ванель и честен. Кольбер подумал о том, что этот человек, подчиняясь ему по службе, в действительности держит его в своей власти, ибо г-жа Ванель – его, Кольбера, любовница. И пока он сочувственно думал об участи этого человека, Ванель бесстрастно вынул из кармана надушенное, запечатанное испанским воском письмо и протянул его интенданту.

– Что это, Ванель?

– Письмо от жены, монсеньор.

Кольбер закашлялся. Он взял письмо, распечатал его, прочел и сунул себе в карман, в то время как Ванель невозмутимо листал свои протоколы.

– Ванель, – сказал внезапно патрон своему подчиненному, – вы, как кажется, не боитесь работы?

– Да, монсеньор.

– Двенадцать часов ежедневно не приводят вас в ужас?

– Я работаю пятнадцать часов.

– Непостижимо. Парламентские обязанности отнимают не больше трех часов в сутки.

– О, я веду счетные книги одного моего друга, дела которого находятся на моем попечении; кроме того, в свободное время я изучаю древнееврейский язык.

– Вас очень высоко ценят в парламенте, не так ли, Ванель?

– Полагаю, что да, монсеньор.

– Вам не следует засиживаться на месте советника.

– Что же надлежит сделать для этого?

– Купить должность.

– Какую?

– Что-нибудь позначительней. Скромные притязания удовлетворить труднее всего.

– Наполнять скромные кошельки тоже ведь дело нелегкое.

– Ну, и какая все-таки должность прельщает вас?

– По правде сказать, я не вижу ни одной, которая была бы мне по карману.

– Есть хорошая должность. Но надо быть королем, чтобы купить ее без денежных затруднений, а королю, пожалуй, не придет в голову покупать должность генерального прокурора.

Услышав эти слова, Ванель поднял на Кольбера смиренный невыразительный взгляд.

Кольбер так и не смог понять, разгадал ли Ванель его замыслы или просто откликнулся на произнесенные им слова.

– О какой должности генерального прокурора парламента вы, монсеньор, говорите? – спросил Ванель. – Я знаю лишь должность господина Фуке.

– О ней-то я и говорю, мой милый советник.

– У вас недурной вкус, монсеньор; но товар может быть куплен только в том случае, если он продается.

– Думаю, господин Ванель, что эта должность в скором времени поступит в продажу.

– Поступит в продажу! Должность генерального прокурора, должность господина Фуке?

– Об этом усиленно поговаривают.

– Должность, которая делает его неуязвимым, поступит в продажу? О, о!

И Ванель засмеялся.

– Может быть, эта должность пугает вас? – сурово произнес Кольбер.

– Пугает? Нисколько.

– Или вы не хотите ее?

– Монсеньор, вы потешаетесь надо мной, – ответил Ванель. – Какому советнику парламента не хотелось бы превратиться в генерального прокурора?

– В таком случае, господин Ванель... раз я утверждаю, что должность поступит в продажу...

– Вы утверждаете, монсеньор?

– Об этом многие говорят.

– Повторяю, это немыслимо: никто не бросит щита, оберегающего его честь, состояние, наконец, жизнь.

– Бывают порой сумасшедшие, которые мнят себя в безопасности от ударов судьбы, господин Ванель.

– Да, монсеньор, бывают; но подобные сумасшедшие не совершают своих безумств в пользу бедных Ванелей, прозябающих в этом мире.

– Почему?

– Потому что Ванели бедны.

– Должность господина Фуке и впрямь стоит дорого. Что бы вы отдали за нее, господин Ванель?

– Все, что у меня есть, монсеньор.

– Сколько же?

– От трехсот до четырехсот тысяч ливров.

– А цена этой должности?

– Самое малое – полтора миллиона. Я знаю людей, которые предлагали миллион семьсот тысяч и все же не могли соблазнить господина Фуке. Но если бы даже случилось, что господин Фуке захочет продать свою должность, чему я не верю, несмотря на то, что мне говорили...

– А, так и вам говорили! Кто же?

– Господин де Гурвиль... господин Пелисон... так, мимоходом.

– Ну, так если б господин Фуке захотел продать свою должность?..

– Я все равно не мог бы купить ее, ибо господин суперинтендант продал бы ее лишь за наличные, а кто может сразу выложить на стол полтора миллиона?

Тут Кольбер остановил советника выразительным жестом. Он снова задумался.

Наблюдая работу мысли на лице своего господина и видя его настойчивое желание продолжать разговор о том же предмете, Ванель терпеливо дожидался решения, не смея подсказать его интенданту.

– Объясните мне хорошенько, – сказал наконец Кольбер, – какие привилегии связаны с должностью генерального прокурора.

– Право обвинения всякого французского подданного, если он не принц крови; право аннулирования всякого обвинения, направленного против любого француза, кроме короля и принцев королевского дома. Генеральный прокурор – правая рука короля, карающая виновных; впрочем, та же рука может служить королю и для того, чтобы погасить факел правосудия и законности. Таким образом, господин Фуке в состоянии выказать неповиновение королю, подняв против него парламент; вот почему король, несмотря ни на что, постарается ладить с господином Фуке, ибо его величество, конечно, захочет, чтобы его указы вступали в законную силу без возражений парламента. Генеральный прокурор может быть и очень полезным, и очень опасным орудием.

– Хотите быть генеральным прокурором, Ванель? – внезапно спросил Кольбер, смягчая голос и взгляд.

– Я? – воскликнул Ванель. – Но я уже имел честь докладывать, что у меня для этого не хватает миллиона ста тысяч ливров.

– Вы возьмете их в долг у ваших друзей.

– У меня нет друзей богаче меня.

– Вы – честный человек!

– О, если б все думали так же, как монсеньор!

– Достаточно, что так думаю я. И в случае надобности я готов отвечать за вас.

– Берегитесь, монсеньор! Знаете ли вы поговорку?

– Какую?

– Кто отвечает, тому и платить.

– До этого не дойдет.

Ванель встал, взволнованный предложением, так неожиданно сделанным ему человеком, слова которого воспринимались всерьез даже самыми легкомысленными людьми.

– Не потешайтесь надо мной, монсеньор, – сказал он.

– Давайте поспешим с этим делом, Ванель. Вы говорите, что господин Гурвиль разговаривал с вами о должности господина Фуке?

– Да, и Пелисон также.

– Официально или только официально?

– Вот их слова: «Члены парламента богаты и честолюбивы, им надлежит сложиться и предложить два или три миллиона господину Фуке, своему покровителю, своему светочу».

– Что же вы сказали на это?

– Я сказал, что в случае нужды внесу свою долю в размере десяти тысяч ливров.

– А, значит, и вы обожаете господина Фуке! – воскликнул Кольбер, бросив на Ванеля взгляд, полный ненависти.

– Нисколько. Но господин Фуке занимает пост нашего генерального прокурора; он влез в долги, он идет ко дну; мы должны спасти честь корпорации.

– Так вот почему, пока Фуке при своей должности, ему нечего опасаться!

– Сверх того, – продолжал Ванель, – господин Гурвиль добавил: «Принять милостыню господину Фуке унизительно, и он от нее, несомненно, откажется; пусть же парламент сложится и, соблюдая благопристойность, купит должность своего генерального прокурора; тогда все обойдется как следует: честь корпорации останется незапятнанной, и вместе с тем будет пощажена гордость господина Фуке».

– Да, это действительно выход.

– Я рассудил совершенно так же, как вы, монсеньор.

– Так вот, господин Ванель: вы сейчас же отправитесь к господину Пелисону или к господину Гурвилю; знаете ли вы еще кого-нибудь из друзей господина Фуке?

– Я хорошо знаком с господином де Лафонтеном.

– С тем... стихотворцем?

– Да, с ним; когда мы были в добрых отношениях с господином Фуке, он сочинял стихи, воспевавшие мою жену.

– Обратитесь к нему, чтобы он устроил вам встречу с суперинтендантом.

– Охотно. Но как же с деньгами?

– В указанный день и час деньги будут в вашем распоряжении; на этот счет можете быть спокойны.

– Монсеньор, сколь великая щедрость! Вы затмеваете короля. Вы превосходите господина Фуке!

– Одну минуту... не будем злоупотреблять словами, Ванель. Я вам отнюдь не дарю миллиона четырехсот тысяч ливров; у меня есть дети.

– О сударь, вы мне их ссужаете – и этого более чем достаточно.

– Да, я их ссужаю.

– Назначайте любые проценты, любые гарантии, монсеньор, я готов ко всему; что бы вы ни потребовали, я буду повторять еще и еще, что вы превосходите в щедрости королей и господина Фуке. Ваши условия?

– Вы погасите долг в течение восьми лет.

– Очень хорошо.

– Вы дадите мне закладную на самую должность.

– Превосходно. Это все?

– Подождите. Я оставляю за собой право перекупить у вас эту должность, уплатив вам на сто пятьдесят тысяч ливров больше, чем то, что вы заплатите за нее, если в отправлении этой должности вы не будете руководствоваться интересами короля и моими предначертаниями.

– А-а! – произнес, слегка волнуясь, Ванель.

– Разве в моих условиях есть что-нибудь, что вам не нравится? – холодно спросил Ванеля Кольбер.

– Нет, нет, – живо ответил Ванель.

– В таком случае мы подпишем договор, когда вы того пожелаете. Бегите же к друзьям господина Фуке.

– Лечу...

– И добейтесь свидания с суперинтендантом.

– Хорошо, монсеньор.

– Будьте уступчивы.

– Да.

- И как только сговоритесь...
- Я потороплюсь заставить его подписать соглашение.
- никоим образом не делайте этого!.. Ни в коем случае не заикайтесь ни о подписи, говоря с господином Фуке, ни о неустойке в случае нарушения им договора, ни даже о честном слове, слышите? Или вы все погубите!
- Как же быть, монсеньор? Все это не так просто.
- Постарайтесь только, чтобы господин Фуке заключил с вами сделку. Идите!

### III. У вдовствующей королевы

Вдовствующая королева пребывала у себя в спальне в королевском дворце с г-жой де Мотвиль и сеньорой Моленой. Король, которого прождали до вечера, так и не появился. Королева в нетерпении несколько раз посылала узнать, не возвратился ли он. Все предвещало грозу. Придворные кавалеры и дамы избегали встречаться в приемных и коридорах, дабы не говорить на опасные темы.

Принц, брат короля, еще утром отправился с королем на охоту. Принцесса, дуюсь на всех, сидела у себя. Вдовствующая королева, прочитав по-латыни молитву, разговаривала со своими двумя приближенными на чистом кастильском наречии; речь шла о семейных делах. Г-жа де Мотвиль, прекрасно понимавшая испанский язык, отвечала ей по-французски.

После того как три собеседницы, в безупречно учтивой форме и пользуясь недомолвками, высказались в том смысле, что поведение короля убивает королеву, его супругу, королеву-мать и всю остальную родню; после того как в изысканных выражениях на голову мадемуазель де Лавальер были обрушены всяческие проклятия, королева-мать увенчала эти жалобы и укоры словами, отвечавшими ее характеру и образу мыслей.

– Estos hijos! – сказала она, обращаясь к Молене. Эти слова означали: «Ах, эти дети!»

Эти слова в устах матери полны глубокого смысла: в устах королевы Анны Австрийской, хранившей в глубине своей скорбной души столь невероятные тайны, слова эти были просто ужасны.

– Да, – отвечала Молене, – эти дети! Дети, которым всякая мать отдает себя без остатка.

– И ради которых, – продолжила королева, – мать пожертвовала решительно всем...

Королева не закончила фразы. Она бросила взгляд на портрет бледного, без кровинки в лице, Людовика XIII, изображенного во весь рост, и ей почудилось, будто в тусклых глазах ее супруга снова появляется блеск и его нарисованные на холсте ноздри начинают раздуваться от гнева. Он не говорил, он грозил. После слов королевы надолго воцарилось молчание. Молене принялась рыться в корзине с кружевами и лентами. Г-жа де Мотвиль, пораженная этой молнией взаимопонимания, одновременно мелькнувшей в глазах королевы и ее давней наперсницы, опустила взор и, стараясь не видеть, вся обратилась в слух. Она услышала лишь многозначительное «гм», которое пробормотала дуэнья, эта воплощенная осторожность. Она уловила вздох, вырвавшийся из груди королевы. Г-жа де Мотвиль тотчас же подняла голову и спросила:

– Вы страдаете, ваше величество?

– Нет, Мотвиль; но почему тебе пришло в голову обратиться ко мне с этим вопросом?

– Ваше величество застонали.

– Ты, пожалуй, права: мне немножко не по себе.

– Господин Вало тут поблизости; он, кажется, у принцессы: у нее расстроены нервы.

– И это болезнь! Господин Вало напрасно посещает принцессу; ее исцелил бы совсем, совсем иной врач.

Госпожа де Мотвиль еще раз удивленно взглянула на королеву.

– Иной врач? – переспросила она. – Но кто же?

– Труд, Мотвиль, труд... Ах, уж если кто и впрямь болен, так это моя бедная дочь – королева.

– И вы также, ваше величество.

– Сегодня мне немного легче.

– Не доверяйтесь своему самочувствию, ваше величество. И, словно в подтверждение этих слов г-жи де Мотвиль, острая боль ужалила королеву в самое сердце: она побледнела и откинулась в кресле, теряя сознание.

– Мои капли! – воскликнула она.

– Сейчас, сейчас! – сказала Молена, и, несколько не ускоряя движений, подошла к шкафчику из черепахи золотисто-желтого цвета, вынула из него большой хрустальный флакон и, открыв его, подала королеве.

Королева поднесла его к носу, несколько раз жадно понюхала и прошептала:

– Вот так и убьет меня господь бог. Да будет его святая воля!

– От боли не умирают, – возразила Молена, ставя флакон на прежнее место.

– Вашему величеству лучше? – спросила г-жа де Мотвиль.

– Да, теперь лучше.

И королева приложила палец к губам, чтобы ее любимица не проговорила о только что виденном.

– Странно, – сказала после некоторого молчания г-жа де Мотвиль.

– Что же странного? – произнесла королева.

– Помнит ли ваше величество день, когда эта боль впервые появилась у вас?

– Я помню лишь то, что это был грустный день, Мотвиль.

– Этот день не всегда был для вашего величества грустным.

– Почему?

– Потому что двадцать три года назад, и притом в тот же час, родился царствующий ныне король, прославленный сын вашего величества.

Королева вскрикнула, закрыла лицо руками и на несколько секунд погрузилась в раздумье. Было ли то воспоминание, или размышление, или еще один приступ боли?

Молена кинула на г-жу де Мотвиль почти что свирепый взгляд, до того он был похож на упрек. И достойная женщина, ничего не поняв, собралась было для успокоения своей совести обратиться к ней за разъяснениями, как вдруг Анна Австрийская, внезапно поднявшись с кресла, сказала:

– Пятое сентября! Да, эта боль появилась пятого сентября. Великая радость в один день, великая печаль – в другой. Великая печаль, – добавила она совсем тихо, – искупление за великую радость.

И с этого момента Анна Австрийская, как бы исчерпав всю свою память и разум, снова замолчала, глаза у нее потухли, мысли рассеялись и руки повисли.

– Нужно ложиться в постель, – сказала Молена.

– Сейчас, Молена.

– Оставим ее величество, – упорствовала испанка.

Госпожа де Мотвиль встала. Блестящие и крупные, похожие на детские слезы медленно катились по бледным щекам королевы. Молена, заметив это, пристально посмотрела на Анну Австрийскую своим упорным настороженным взглядом.

– Да, да, – промолвила королева. – Оставьте нас; идите, Мотвиль.

Слово *нас* неприятно прозвучало в ушах французской любимицы. Оно означало, что после ее ухода последует обмен воспоминаниями и тайнами. Оно означало, что беседа вступает в свою наиболее интересную фазу и что третье лицо – а именно она, Мотвиль, – лишнее.

– Чтобы помочь вашему величеству, достаточно ли одной Молены? – спросила француженка.

– Да, – сказала испанка.

Госпожа де Мотвиль поклонилась. Вдруг старая горничная, одетая так же, как одевались при испанском дворе в 1620 году, откинув портьеру и видя королеву в слезах, г-жу де Мотвиль, искусно отступающую под натиском дипломатических уловок Молены, и эту последнюю в разгаре ее дипломатии, без стеснения направилась к королеве и радостно прокричала:

– Лекарство, лекарство!

– Какое лекарство, Чика? – перебила ее Анна Австрийская.

– Лекарство, чтобы вылечить ваше величество от болезни.  
– Кто же доставил его? – живо спросила г-жа де Мотвиль. – Господин Вало?  
– Нет, дама из Фландрии.  
– Дама из Фландрии? Кто она? Испанка? – повернулась к горничной королева.  
– Не знаю.  
– А кем она прислана?  
– Господином Кольбером.  
– Как зовут эту даму?  
– Она не сказала.  
– Ее положение в обществе?  
– На это ответит она сама.  
– Ее лицо?  
– Она в маске.  
– Взгляни-ка, Молена! – воскликнула королева.  
– Это бесполезно, – ответил из-за портьеры решительный и вместе с тем нежный голос, который заставил вздрогнуть королеву и ее дам.

В то же мгновение, раздвигая занавес, появилась женщина в маске. И прежде чем королева успела вымолвить хоть одно слово, незнакомка проговорила:

– Я монахиня из брюггского монастыря, и я действительно принесла лекарство, которое должно излечить ваше величество.

Все молчали. Бегинка замерла в неподвижности.

– Продолжайте, – обратилась к ней королева.

– Когда мы останемся наедине, – сказала бегинка.

Анна Австрийская взглянула на своих компаньенок, и они удалились. Тогда бегинка сделала три шага по направлению к королеве и почтительно склонилась пред нею.

Королева недоверчиво рассматривала монахиню, которая, в свою очередь, упорно смотрела на королеву; ее глаза блестели в прорези маски.

– Королева Франции, должно быть, очень больна, – начала Анна Австрийская, – раз даже бегинки из Брюгге знают, что она нуждается в лечении.

– Слава богу, ваше величество не безнадежно больны.

– Все же как вы узнали, что я больна?

– Ваше величество располагаете друзьями во Фландрии.

– И эти друзья направили вас ко мне?

– Да, ваше величество.

– Назовите их имена.

– Невозможно и бесполезно, поскольку память вашего величества все еще не пробуждена вашим сердцем.

Анна Австрийская подняла голову; она силилась проникнуть под покров маски и разгадать таинственность этих слов, дабы открыть имя той, которая говорила с такою непринужденностью. Потом, вдруг устав от своего любопытства, оскорбительного для ее обычного высокомерия, она строго заметила:

– Сударыня, вы, вероятно, не знаете, что с царствующими особами не говорят в маске?

– Соболаговолите извинить меня, ваше величество, – смиренно ответила бегинка.

– Извинить вас я не могу; я дарю вам прощение, но только в том случае, если вы сбросите маску.

– Ваше величество, я дала обет помогать страждущим и опечаленным, не открывая перед ними лица. Я могла бы принести облегчение и вашему телу и вашей душе, но так как ваше величество чинит мне в этом препятствия, то я удаляюсь. Прощайте, ваше величество!

Эти слова были произнесены с таким обаянием и такой почтительностью, что гнев и недоверие королевы исчезли, тогда как любопытство ее нисколько не улеглось.

– Вы правы, – сказала она, – тем, кто страдает, не следует пренебрегать утешениями, ниспосланными им господом богом. Говорите, сударыня, и, быть может, вам будет дано принести облегчение, как вы обещаете, моему телу... Увы, боюсь, что господь готовит моей плоти жестокие испытания!

– Поговорим немного и о вашей душе, – продолжала бегинка, – о душе, которая тоже страдает, в чем я уверена.

– Моя душа?

– Есть пожирающие нас язвы, которые нарываю не незримо. При этих недугах кожа остается светлой, как слоновая кость, и на теле не проступает никаких синих пятен. Врач, склоняющийся над грудью больного, не в силах услышать, как в мускулах, под током крови, скрежещут зубы этих ненасытных чудовищ; ни огонь, ни железо не способны убить или укротить ярость этого разящего насмерть бича; враг проникает в чувства и мысли, и они приходят в смятение; боль прорастает в сердце, и оно разрывается. Вот, ваше величество, язвы, роковые для королей. Не страдаете ли вы подобным недугом?

Анна медленно подняла руку, такую же ослепительно белую и прекрасную, как во времена ее молодости.

– Недуг, о котором вы говорите, – сказала она, – неизбежное зло нашей жизни, жизни великих мира сего, на которых господь возложил обязанности печься о подданных. Когда недуг слишком тяжел, бог облегчает нас на суде покаяния. Там мы сбрасываем с себя бремя и освобождаемся от гнетущих нас тайн. Но не забывайте, что господь соразмеряет испытания с силами своих тленных созданий, и мои силы способны выдержать лежащее на мне бремя; для чужих тайн мне достаточно скромности бога, для моих собственных мне мало скромности моего духовника.

– Я вижу, что вы, как всегда, смело выступаете против своих врагов, ваше величество, но я боюсь, что вы недостаточно доверяете вашим друзьям.

– У королей нет друзей. Если вам больше нечего мне сказать, если вы чувствуете себя вдохновляемой самим богом, словно пророчица, уйдите, ибо я страшусь будущего.

– А мне показалось, – решительно возразила бегинка, – что вы скорей страшитесь былого.

Она еще не окончила этой фразы, как королева, вся выпрямившись, воскликнула резким и повелительным тоном:

– Говорите! Объяснитесь четко, ясно, полно, или...

– Не грозите, ваше величество, – отвечала мягко бегинка. – Я пришла, полная почтительности и сочувствия, я пришла к вам от друга.

– Тогда докажите это! Облегчите мои страдания, вместо того чтобы вызывать во мне раздражение.

– Это легко сделать. И ваше величество увидит, друг ли я.

– Ну, начинайте.

– Какое несчастье свалилось на ваше величество за последние двадцать три года?

– Ах... большие несчастья; разве не потеряла я короля?

– Я не говорю об этом. Я хочу задать вам вопрос: после рождения короля не причинила ли вам страданий нескромность одной из близких вам женщин?

– Не понимаю вас, – ответила королева, стиснув зубы, чтобы скрыть овладевшее ею волнение.

– Сейчас объясню. Ваше величество помнит, конечно, что король родился пятого сентября тысяча шестьсот тридцать восьмого года в одиннадцать с четвертью часов?

– Да, – пролепетала королева.

– В половине первого, – продолжала бегинка, – дофин, уже помазанный архиепископом Мосским в присутствии короля и вашего, был провозглашен наследником французской короны. Король отправился в часовню старого Сен-Жерменского замка, чтобы прослушать *Te Deum*.<sup>1</sup>

– Все это так, – прошептала королева.

– Ваше величество разрешились от бремени в присутствии покойного принца – брата короля, принцев крови и придворных дам. Врач короля Бувер и хирург Оноре находились в приемной. Ваше величество заснули около трех часов и проспали приблизительно до семи, не так ли?

– Все это верно, но вы мне рассказываете о том, что вместе со мной и вами знает весь свет.

– Я приближаюсь, ваше величество, к тому, что знают немногие. Я сказала: немногие. Увы, я могла бы сказать: только двое, ибо и прежде их было лишь пять, но за последние несколько лет тайна стала еще более сокровенной вследствие смерти большинства посвященных в нее. Король, наш гос– подин, покоится рядом с предками, повивальная бабка Перон умерла вскоре после него, о Ла Порте никто уже больше не вспоминает.

Королева приоткрыла рот, собираясь ответить; под ледяною рукой, которой она коснулась лица, лились горячие капли пота.

– Было восемь часов, – продолжала бегинка. – Король с легким сердцем сидел за ужином; вокруг него были песни, веселые крики, полные до краев стаканы; под балконами горланил народ; швейцарцы, мушкетеры, гвардейцы бродили по городу, и хмельные студенты, встречаясь с ними, принимались качать их. Этот шум народного ликования испугал новорожденного дофина, и он тихонько плакал на руках у своей нянюшки, госпожи Гозак. И если б он открыл глаза, то его взору предстали бы две короны в глубине колыбели. Вдруг ваше величество пронзительно вскрикнули, и к вашему изголовью подошла Перон. Врачи обедали в отдаленной зале. Дворец стал пустыней, поскольку его заполнило слишком много народа; в нем не было ни заведенного порядка, ни часовых. Повивальная бабка, осмотрев ваше величество, закричала от удивления и, обняв вас, измученную и обезумевшую от боли, послала Ла Порта сказать королю, что королева желает видеть его величество. Ла Порт, как вам известно, был человек толковый и хладнокровный. Он не подошел к королю с видом испуганного слуги, чувствующего значительность приносимой им вести и жаждущего напугать ею; его новость, впрочем, не могла бы показаться королю страшной. И вот улыбающийся Ла Порт остановился у королевского кресла и произнес: «Ваше величество, королева исполнена счастья и была бы еще счастливее, если б могла увидеть ваше величество у себя».

В этот день Людовик Тринадцатый за доброе пожелание отдал бы корону любому нищему. Веселый, оживленный, он поднялся из-за стола и сказал таким тоном, каким мог бы сказать Генрих Четвертый: «Господа, я иду к жене».

Он вошел к вам, и Перон поднесла к нему второго наследника, который был такой же здоровенький и такой же красавчик, как первый. При этом она сказала: «Государь, господь не желает, чтобы во французском царствующем доме прекратилась мужская линия». Король, движимый горячим порывом, подбежал к этому второму ребенку, воскликнув: «Благодарю тебя, боже!»

Тут бегинка замолкла, заметив, что королева сильно страдает. Анна Австрийская, откинувшись в кресле, с опущенной головой, с остановившимся взглядом, слушала ее, очевидно, не понимая того, что ей говорят: губы ее судорожно подергивались, как бы произнося молитвы, обращенные к богу, или призывая проклятия на голову этой безжалостной женщины.

– Ах, не думайте, – горячо продолжала бегинка, – не думайте, что если во Франции оказался один дофин и если королева оставила второго ребенка прозябать вдалеке от королевского

---

<sup>1</sup> Тебе бога (хвалим)... (*лат.*) – начальные слова католического духовного гимна.

трона, не думайте, что она была дурной матерью! О нет, нет!.. Существуют люди, которым хорошо ведомо, сколько слез она пролила, которые могут сосчитать пыльные поцелуи, которыми она осыпала это бедное существо, утешая его за жалкую и скрытую во тьме жизнь, в силу государственной необходимости доставшуюся в удел близнецу Людовика Четырнадцатого.

– Боже мой! Боже мой! – едва слышно прошептала королева.

– Известно, – оживилась бегинка, – что король, увидев себя отцом двоих сыновей, сверстников, обладавших одинаковыми правами, проникся тревогой за судьбы Франции, за мир и спокойствие в своем королевстве. Известно, что вызванный во дворец Ришелье больше часа предавался раздумьям в кабинете его величества и в конце концов произнес следующий приговор: «Во Франции может быть лишь один дофин, родившийся, чтобы унаследовать трон после его величества. Господь бог послал нам еще одного, чтобы он мог наследовать первому. Но в настоящее время мы нуждаемся только в том, кто первый появился на свет; скроем же второго от Франции, как господь скрыл его поначалу от его державных родителей. Один наследник престола – это мир и спокойствие государства; два претендента – это гражданская война и анархия».

Королева, бледная, со сжатыми кулаками, резким движением поднялась с кресла.

– Вы знаете слишком много, – произнесла она глухим голосом, – вы причастны к государственным тайнам. А друзья, которые вам их поведали, – лжедрузья и предатели. Вы их сообщница в преступлении, которое здесь совершается. А теперь маску долой, или я прикажу дежурному офицеру взять вас под арест. О, я не боюсь этой тайны! Вы узнали ее и за это заплатите! Она застынет в вашей груди. И эта тайна, и ваша жизнь отныне принадлежат не вам!

И Анна Австрийская с угрожающим жестом сделала несколько шагов в сторону бегинки.

– Оцените же верность, честь, скромность покинутых вами друзей, – сказала бегинка и сбросила маску.

– Герцогиня де Шеврез! – воскликнула королева.

– Единственная, кто разделяет с вами эту тайну.

– Ах, – прошептала Анна Австрийская, – обнимите меня, герцогиня! Ведь недолго и убить старого друга, играя его роковыми печальями.

И королева, склонив голову на плечо давней своей приятельницы, пролила поток горьких слез.

– Как же вы еще молоды, – вполголоса произнесла г-жа де Шеврез, – счастливая, вы можете плакать!

## IV. Подруги

Королева надменно посмотрела на герцогиню де Шеврез и сказала:

– Вы произнесли, кажется, слово «счастливая», говоря обо мне. А между тем, герцогиня, я всегда думала, что на всем белом свете нет ни одного существа, которое было бы столь же обойдено счастьем, как французская королева.

– Государыня, вы воистину мать всех скорбей. Но наряду с теми возвышенными терзаниями, о которых мы с вами, старинные приятельницы, разлученные людской злобой, только что говорили, наряду с этими бедствиями, связанными с тем, что вы – королева, у вас есть и кое-какие радости, правда, мало ощутимые вами, но порождающие в этом мире жгучую зависть.

– Какие же? – спросила горестно Анна Австрийская. – Как можно произносить слово «радость», если вы сами только что утверждали, что и тело мое и дух нуждаются в целебных лекарствах?

Госпожа де Шеврез задумалась на минуту, потом прошептала:

– Какая, однако, пропасть отделяет королей от всех остальных!

– Что вы хотите этим сказать?

– Я хочу сказать, что они настолько далеки от грубой действительности, что забывают о нуждах, с которыми должны бороться другие. Они подобны тем обитателям африканских нагорий, которые на своих зеленых высотах, оживленных ручьями со студеной, как лед, водою, не понимают, как это можно умирать от жажды и голода среди сожженной солнцем пустыни.

Королева слегка покраснела; только теперь она поняла, о чем идет речь.

– Как дурно с моей стороны, что я покинула вас! – воскликнула она.

– Ах, государыня, говорят, что король унаследовал ненависть, которую питал ко мне его покойный отец. Король прогнал бы меня, если бы ему стало известно, что я во дворце.

– Не скажу, герцогиня, чтобы король питал к вам особое расположение, – сказала в ответ королева. – Но я могла бы... как-нибудь скрытно...

На лице герцогини промелькнула презрительная усмешка, встревожившая ее собеседницу.

И королева поторопилась добавить:

– Впрочем, вы очень хорошо сделали, что явились ко мне.

– Благодарю вас, ваше величество.

– Хотя бы для того, чтобы доставить мне радость наглядным опровержением слухов о вашей смерти.

– Неужели говорили о том, что я умерла?

– Со всех сторон.

– Но мои сыновья не носили траура.

– Вы ведь знаете, герцогиня, что двор без конца путешествует; мы не часто видим у себя господ д'Альбер де Люинь, ваших детей, и, кроме того, столько вещей ускользает от нас в сутолоке забот, среди которых мы постоянно живем.

– Ваше величество не должны были верить слуху о моей смерти.

– Почему бы и нет? Увы, все мы смертны: ведь вы видите, что и я, ваша меньшая сестра, как говорили мы когда-то, уже склоняюсь к могиле.

– Если вы поверили в мою смерть, ваше величество, то вас, по всей вероятности, удивило, что, умирая, я не подала о себе весточки.

– Но ведь смерть, герцогиня, порой приходит неожиданно-негаданно.

– О ваше величество! Души, отягощенные тайнами, вроде той, о которой мы только что говорили, всегда испытывают потребность в освобождении от лежащего на них бремени, и эту

потребность следует удовлетворить заранее. Среди дел, которые надлежит выполнить, готовясь к путешествию в вечность, указывают также и на необходимость привести в порядок бумаги.

Королева вздрогнула.

– Ваше величество, – сказала герцогиня, – в точности узнаете день моей смерти, и притом достовернейшим способом.

– Как же это произойдет?

– Не позже чем на следующий день после моей кончины вашему величеству будет доставлен четырехслойный конверт, и в нем вы обнаружите все, что осталось от нашей некогда столь таинственной переписки.

– Вы не сожгли моих писем? – воскликнула с ужасом Анна.

– О моя королева, лишь предатели жгут королевские письма.

– Предатели?

– Да, предатели. Или, вернее, они делают вид, что сжигают их, но в действительности хранят их у себя или продают за большие деньги...

– Господи боже!

– Тот, однако, кто хранит верность, прячет такие сокровища как можно дальше; затем в один прекрасный день он является к своей королеве и говорит: «Ваше величество, я старею, я тяжело болен, моя жизнь в опасности, и в опасности тайна, доверенная мне вашим величеством; возьмите же эту таящую опасность бумагу и сами, своими руками сожгите ее».

– Бумага, в которой таится опасность? Какая же это бумага?

– У меня только одна такая бумага, но действительно очень опасная!

– О герцогиня, скажите, скажите же, что это такое?

– Это записка... от второго августа тысяча шестьсот сорок четвертого года, в которой вы посылаете меня в Нуази-ле-Сек, чтоб повидать вашего милого и несчастного мальчика. Вашей рукою так и написано: «милого и несчастного мальчика».

Воцарилась полная тишина. Королева мысленно измеряла глубину пропасти, г-жа де Шеврез расставляла свою западню.

– Да, несчастный, очень, очень несчастный! – прошептала Анна Австрийская. – Какую печальную жизнь прожил этот бедный ребенок и как ужасно эта жизнь завершилась!

– Разве он умер? – воскликнула герцогиня, и королева, несколько успокаиваясь, подумала, что ее удивление искренне.

– Умер в чахотке, умер всеми забытый, увял, как цветок, поднесенный влюбленным и засунутый предметом его любви в глубину шкафа, чтобы укрыть его от нескромных глаз окружающих!

– Значит, он умер! – повторила герцогиня опечаленным тоном, который, несомненно, мог бы обрадовать королеву, если бы в нем не слышалось нотки сомнения. – Умер в Нуази-ле-Сек?

– Да, на руках у своего гувернера, несчастного, преданного слуги, который не namного пережил его.

– Само собою понятно: нелегко снести такую печаль и жить с такой тайной в груди.

Королева не удостоила заметить иронию этих слов. Г-жа де Шеврез продолжала:

– Несколько лет назад, государыня, я справлялась в самом Нуази-ле-Сек о судьбе этого столь несчастного мальчика. Там его не считали умершим, вот почему я не сразу прониклась скорбью вместе с вашим величеством. О, разумеется, если б я поверила этому слуху, никогда ни один намек на это горестное событие не пробудил бы законнейшую печаль в вашем сердце, ваше величество.

– Вы говорите, что в Нуази-ле-Сек ребенка не считали умершим?

– Нет, ваше величество.

– Что же там говорили?

- Говорили... Но, разумеется, это плод заблуждения.
- Все же скажите, что вы там слышали.
- Говорили, что как-то вечером – это было в начале тысяча шестьсот сорок пятого года – величественная и красивая женщина (что было замечено, несмотря на маску и плащ, которые скрывали ее), несомненно, знатная дама, даже очень знатная дама, приехала в карете на перекресток дорог, тот самый, на котором, как вам известно, я дожидалась вестей о молодом принце, когда ваше величество благоволили меня туда посылать.
- И?..
- И гувернер привел мальчика к этой даме.
- Дальше!
- На следующий день гувернер с мальчиком уехали из местечка.
- Видите ли, этот рассказ правдив; но бедный ребенок умер внезапно, что часто случается с детьми в возрасте до семи лет. По словам врачей, жизнь их в эти годы держится на волоске.
- То, что говорит ваше величество, – истина; никто не знает этого лучше, чем вы, никто не верит этому столь же безгранично, как я. Но заметьте, тут есть одна странность...  
«Что еще?» – подумала королева.
- Лицо, сообщившее мне эти подробности, лицо, ездившее справляться о здоровье ребенка...
- Вы кому-нибудь доверили подобное поручение? О, герцогиня!
- Некто немой, как ваше величество, немой, как я; предположим, что этим некто была я сама. Это лицо, проезжая через некоторое время в Турень...
- В Турень?
- ...узнало и гувернера и мальчика... простите, этому лицу, разумеется, лишь так показалось, что оно узнало обоих. Оба были живы, веселы и здоровы, оба цвели, один – в дни своей бодрой, полной сил старости, другой – в нежные дни первой юности. Судите же после этого, можно ли доверять слухам? Можно ли в нашем подлунном мире верить чему бы то ни было? Но я утомляю ваше величество. О, я совсем не хотела этого, и я сейчас же откланяюсь, принеся еще раз уверения в моей почтительнейшей преданности, ваше величество.
- Оставайтесь! Поговорим немного о вас.
- Обо мне? О государыня, не опускайте столь низко свой взор.
- Почему же? Разве вы не стариннейшая моя приятельница... Разве вы сердитесь на меня, герцогиня?
- Я? Господи боже! У меня нет к этому оснований. Неужели я явилась бы к вам, будь у меня причина сердиться на вас?
- Годы одолевают нас, герцогиня; мы должны теснее сплотиться в борьбе против грозящей нам смерти.
- Ваше величество, вы осыпаете меня милостями, произнося такие ласковые слова.
- Никто не любил меня так, никто мне так не служил, как вы, герцогиня.
- Ваше величество помнит об этом?
- Всегда... Герцогиня, я хочу от вас доказательства дружбы.
- Всем своим существом я ваша, ваше величество!
- Но где же доказательство дружбы?
- Какое?
- Обратитесь ко мне с какой-нибудь просьбой.
- С просьбой?
- О, я знаю, у вас самая бескорыстная, самая возвышенная, самая царственная душа.
- Не хвалите меня чрезмерно, ваше величество, – сказала взволнованно герцогиня.
- Я не в состоянии воздать вам хвалу, которая была бы равна вашим заслугам.
- С возрастом под влиянием несчастий очень меняешься, ваше величество.

– Да услышит вас бог, герцогиня!

– Что это значит, ваше величество?

– Это значит вот что: прежняя герцогиня, прекрасная, обожаемая Шеврез, ответила бы мне черной неблагодарностью. Она бы сказала: «Мне ничего не нужно от вас». Да будут в таком случае благословенны несчастья, если они изменили вас и вы теперь, быть может, ответите мне: «Принимаю».

Взгляд и улыбка герцогини смягчились. Она была очарована королевой и не пыталась скрыть свои чувства.

– Говорите же, моя дорогая, – продолжала королева, – чего вы желаете?

– Итак, я должна высказаться?

– Поскорей, не раздумывая.

– Ваше величество можете принести мне несказанную радость, несравненную радость.

– Ну, говорите же, – промолвила королева, слегка охладев вследствие проснувшегося в ней беспокойства. – Только не забывайте, моя дорогая Шеврез, что теперь надо мной стоит сын, как некогда стоял муж.

– Я буду скромна, моя королева.

– Называйте меня Анной, как прежде, это будет сладким напоминанием о несравненных днях юности.

– Хорошо. Итак, моя обожаемая госпожа, моя милая Анна...

– Ты еще помнишь испанский?

– Конечно.

– Тогда сообщи мне по-испански, чего ты хочешь.

– Я хочу следующего: окажи мне честь и приезжай ко мне на несколько дней в Дампьер.

– И это все? – воскликнула пораженная королева.

– Да.

– Только и всего?

– Боже мой, разве вы не видите, что я прошу вас о неслыханном благодеянии? Если вы не видите этого, значит, вовсе меня не знаете. Принимаете ли вы мое приглашение?

– Конечно, и от всего сердца.

– О, как я признательна вам!

– И я буду счастлива, – продолжала, все еще не вполне уверовав в искренность герцогини, Анна Австрийская, – если мое присутствие сможет оказаться полезным для вас.

– Полезным! – воскликнула, смеясь, герцогиня. – О нет! Приятным, сладостным, радостным, да, тысячу раз да! Значит, вы обещаете?

– Даю вам слово.

Герцогиня схватила прекрасную руку королевы и поцеловала ее.

«Она, в сущности, добрая женщина, – подумала королева, – и... ей свойственно душевное благородство».

– Ваше величество, – задала вопрос герцогиня, – даете ли вы мне две недели?

– Конечно. Но для чего?

– Зная, что я в немилости, никто не хотел дать мне взаймы сто тысяч экю, которые мне нужны, чтобы привести в порядок Дампьер. Но теперь, лишь только станет известно, что эти деньги пойдут на то, чтобы принять ваше величество, парижские капиталы рекой потекут ко мне.

– Так вот оно что, – сказала королева, ласково кивнув головой, – сто тысяч экю! Нужно сто тысяч экю, чтобы привести в порядок Дампьер?

– Около этого.

– И никто не хочет ссудить их вам?

– Никто.

- Если хотите, я их ссужу, герцогиня.
- О, я не посмею.
- Напрасно.
- Правда?
- Честное слово королевы. Сто тысяч экю – это, в сущности, не так уж много.
- Разве?
- Да, немного. Я знаю, что вы никогда не продавали ваше молчание за цену, которую оно стоит. Подвиньте мне этот стол, герцогиня, и я напишу вам чек для господина Кольбера; нет, лучше для господина Фуке, который гораздо любезнее и приятнее.
- А заплатит ли он?
- Если он не заплатит, заплачу я. Но это был бы первый случай, когда бы он мне отказал. Королева написала записку, вручила ее герцогине и простилась с ней, расцеловав ее напоследок.

## V. Как Жан де Лафонтен написал свою первую басню

Рассказ обо всех этих интригах нами исчерпан, и в трех последующих главах нашего повествования развернется непринужденная игра человеческого ума, столь многообразного в своих проявлениях.

Быть может, и впредь мы не сможем обойтись в той картине, которую собираемся показать, без политики и интриг, но их пружины будут скрыты так глубоко, что читатель увидит лишь цветы и роскошную живопись, ибо дело будет обстоять здесь точно так же, как в балагане на ярмарке, где великана, шагающего по подмосткам, приводят в движение слабые ножки и хрупкие ручки запятого в его платье ребенка.

Итак, мы возвращаемся в Сен-Манде, где суперинтендант по своему обыкновению принимает избранное общество эпикурейцев.

С некоторых пор для хозяина наступили тяжелые дни. Всякий, войдя к нему, не может не почувствовать затруднений, испытываемых министром. Здесь не бывает больше многолюдных и шумных сборищ. Предлог, который приводит Фуке, – финансы, но, как остроумно заметил Гурвиль, не бывало еще предлога более лживого: тут нет и тени финансов. Правда, пока Ватель еще умудряется поддерживать репутацию дома.

Между тем садовники и огородники, снабжающие своими припасами кухню, жалуются, что их разоряют, задерживая расчеты. Комиссионеры, поставляющие испанские вина, шлют письмо за письмом, тщетно прося об оплате счетов. Рыбаки, нанятые суперинтендантом на побережье Нормандии, прикидывают в уме, что, если бы с ними был произведен полный расчет, они смогли бы бросить рыбную ловлю и осесть на земле. Свежая рыба, которая позднее станет причиной смерти Вателя, больше не появляется.

И все же в приемный день друзья г-на Фуке собрались у него в большем количестве, чем обычно. Гурвиль и аббат Фуке беседуют о финансах, иначе говоря, аббат берет у Гурвиля несколько пистолей взаймы. Пелисон, положив ногу на ногу, дописывает заключение речи, которой Фуке должен открыть парламент. И эта речь – настоящий шедевр, ибо Пелисон сочиняет ее для друга, то есть вкладывает в нее все то, над чем он не стал бы, разумеется, биться, если бы писал ее для себя. Вскоре из глубины сада выходят Лафонтен и Лоре, спорящие о шуточных стихах.

Художники и музыканты собираются возле столовой. Когда пробьет восемь часов, сядут ужинать. Суперинтендант никогда не заставляет дожидаться себя. Сейчас половина восьмого. Appetit уже сильно разыгрался.

После того как все гости наконец собрались, Гурвиль направляется к Пелисону, отрывает его от раздумий и, выведя на середину гостиной, двери которой тщательно закрыты, спрашивает у него:

– Ну, что нового?

Пелисон смотрит на него.

– Я занял у своей тетушки двадцать пять тысяч ливров – вот чеки на эту сумму.

– Хорошо, – отвечает Гурвиль, – теперь не хватает лишь ста девяноста пяти тысяч ливров для первого взноса.

– Это какого же взноса? – спрашивает Лафонтен таким тоном, как если бы он задал свой обычный вопрос: «А читали ли вы Баруха?»

– Ох уж этот мне рассеянный человек! – восклицает Гурвиль. – Ведь вы сами сообщили мне о небольшом поместье в Корбейле, которое собирается продать один из кредиторов господина Фуке; ведь это вы предложили всем друзьям Эпикура устроить складчину, чтобы помешать этому; вы говорили также, что продадите часть вашего дома в Шато-Тьерри, чтоб внести свою долю, а теперь вы вдруг спрашиваете: «Это какого же взноса?»

- Эти слова Гурвиля были встречены общим смехом, заставившим покраснеть Лафонтена.
- Простите, простите меня, – сказал он, – это верно; нет, я не забыл. Только...
  - Только ты больше не помнил об этом, – заметил Лоре.
  - Сущая истина. Он совершенно прав. Забыть и не помнить – это большая разница.
  - А вы принесли вашу лепту, – спросил Пелисон, – деньги за проданный вами участок земли?
  - Проданный? Нет, не принес.
  - Вы что же, так его и не продали? – удивился Гурвиль, знавший бескорыстие и щедрость поэта.
  - Моя жена не допустила этого, – отвечал Лафонтен.
- Раздался новый взрыв смеха.
- Но ведь в Шато-Тьерри вы ездили именно с этой целью?
  - Да, и даже верхом.
  - Бедный Жан!
  - Я восемь раз сменил лошадей. Я изнемог.
  - Вот это друг!.. Но там-то вы, надеюсь, отдохнули?
  - Отдохнул? Вот так отдых! Там у меня было довольно хлопот.
  - Как так?
  - Моя жена принялась кокетничать с тем, кому я собирался продать свой участок; этот человек отказался от покупки, и я вызвал его на дуэль.
  - Превосходно! И вы дрались?
  - Очевидно, нет.
  - Вы, стало быть, и этого толком не знаете?
  - Нет, нет; вмешалась моя жена со своею родней. В течение четверти часа я стоял со шпагой в руке, но между тем не был ранен.
  - А ваш противник?
  - Противник тоже. Он не явился на место дуэли.
  - Замечательно! – закричали со всех сторон. – Вы, должно быть, метали грома и молнии?
  - Разумеется! Там я схватил простуду, а когда вернулся домой, жена накинулась на меня с бранью.
  - Всерьез?
  - Всерьез! Она бросила в меня хлебом, понимаете, большим хлебом и попала мне в голову.
  - А вы?
  - А я? Я принялся швырять в нее и ее гостей всем, что нашел на столе; потом вскочил на коня, и вот я здесь.
- Нельзя было оставаться серьезным, слушая эту комическую героиню. Когда ураган смеха несколько стих, Лафонтена спросили:
- И это все, что вы привезли?
  - О нет. Мне пришла в голову превосходная мысль.
  - Выскажите ее.
  - Приметили ли вы, что у нас во Франции сочиняется множество игривых стишков?
  - Еще бы, – ответили хором присутствующие.
  - И что их мало печатают?
  - Совершенно верно; законы на этот счет очень суровы.
  - И я подумал, что редкий товар – ценный товар. Вот почему я принялся сочинять небольшую поэмку, в высшей степени вольную.
  - О, о, милый поэт!
  - В высшей степени непристойную.

– О, о!

– В высшей степени циничную.

– Черт подери!

– Я вставил в нее все словечки из обихода любви, которые только знаю, – говорил Лафонтен.

Все хохотали до упаду, слушая, как славный поэт расхваливает свой товар.

– И я постарался превзойти все написанное прежде меня Боккаччо, Аретино и другими мастерами этого жанра.

– Боже мой! – вскричал Пелисон. – Да он заработает себе отлучение.

– Вы и в самом деле так думаете? – наивно спросил Лафонтен. – Клянусь вам, я сделал это не для себя, а для господина Фуке.

Столь великолепный довод окончательно развеселил присутствующих.

– И кроме того, – продолжал Лафонтен, потирая руки, – я продал первое издание этой поэмы за целые восемьсот ливров. Между тем за книги благочестивого содержания издатели платят вдвое дешевле.

– Уж лучше бы вы состряпали, – заметил со смехом Гурвиль, – пару благочестивых книг.

– Это хлопотно и недостаточно развлекательно, – спокойно сказал Лафонтен, – вот здесь, в этом мешочке, восемьсот ливров.

С этими словами он вручил свой дар казначею эпикурейцев. Вслед за ним отдал свои пятьдесят ливров Лоре. Остальные также внесли кто сколько мог. Когда подсчитали, оказалось, что собрано сорок тысяч ливров.

Еще не замолк звон монет, как суперинтендант вошел или, вернее, проскользнул в залу. Он был незримым свидетелем этой сцены. И он, который ворочал миллиардами, богач, познавший все удовольствия и все почести, какие только существуют на свете, этот человек с необъятным сердцем и творческим мозгом, переплавивший в себе, словно тигель, материальную и духовную сущность первого королевства в мире, знаменитый Фуке стоял, окруженный гостями, с глазами, полными слез, и, погрузив в мешок с золотом и серебром свои тонкие белые пальцы, сказал мягким и растроганным голосом:

– О жалкая милостыня, ты затеряешься в самой крошечной складке моего опустевшего кошелька, но ты наполнила до краев мое сердце, а его никто и ничто не в состоянии исчерпать. Спасибо, друзья, спасибо!

И так как он не мог расцеловать всех находящихся в комнате, у которых также навернулись на глаза слезы, он обнял Лафонтена со словами:

– Бедненький мой! Из-за меня вас вздула жена, и из-за меня духовник наложит на вас отлучение.

– Все это сущие пустяки: обожди ваши кредиторы годика два, я написал бы добрую сотню басен; каждая из них была бы выпущена двумя изданиями, и ваш долг был бы оплачен!

## VI. Лафонтен ведет переговоры

Фуке, сердечно пожав руку Лафонтену, сказал:

– Мой милый поэт, сочините, прошу вас, еще сотню басен, и не только ради восьмидесяти пистолей за каждую, но и для того, чтобы обогатить нашу словесность сотней шедевров.

– Но не думайте, – важничая, заявил Лафонтен, – что я принес господину суперинтенданту лишь эту идею и эти восемьдесят пистолей.

– Лафонтен, никак, сегодня богач! – вскричали со всех сторон.

– Да будет благословенна мысль, способная подарить меня миллионом или двумя, – весело произнес Фуке.

– Вот именно, – согласился Лафонтен.

– Скорее, скорее! – раздались крики присутствующих.

– Берегитесь! – шепнул Пелисон Лафонтену. – До сих пор вы имели большой успех, но нельзя же перегибать палку.

– Ни-ни, господин Пелисон, вы человек отменного вкуса, и вы сами выразите мне свое одобрение.

– Речь идет о миллионах? – спросил Гурвиль.

Лафонтен ударил себя в грудь и сказал:

– У меня вот тут полтора миллиона.

– К черту этого гасконца из Шато-Тъери! – воскликнул Лоре.

– Вам подобало бы коснуться не кармана, а головы, – заметил Фуке.

– Господин суперинтендант, – продолжал Лафонтен, – вы не генеральный прокурор, вы поэт.

– Неужели? – вскричали Лоре, Корнар и прочие литераторы.

– Я утверждаю, что вы поэт, живописец, ваятель, друг наук и искусств, но признайтесь, признайтесь сами, вы никоим образом не судейский!

– Охотно, – ответил, улыбаясь, Фуке.

– Если б вас захотели избрать в Академию, скажите, вы бы отказались от этого?

– Полагаю, что так, да не обидятся на меня академики.

– Но почему же, не желая входить в состав Академии, вы позволяете числить себя в составе парламента?

– Вот как! – удивился Пелисон. – Мы говорим о политике.

– Я спрашиваю, – продолжал Лафонтен, – идет или не идет господину Фуке прокурорская мантия?

– Дело не в мантии, – возразил Пелисон, раздраженный всеобщим смехом.

– Напротив, именно в мантии, – заметил Лоре.

– Отнимите мантию у генерального прокурора, – сказал Корнар, – и у нас останется господин Фуке, на что мы отнюдь не жалуемся. Но так как не бывает генерального прокурора без мантии, то мы объявляем вслед за господином де Лафонтеном, что мантия действительно пугало.

– *Fugiant risus leporesque*, – вставил Лоре.

– Бегут смех и забавы, – перевел один из ученых гостей.

– А я, – с важным видом продолжал Пелисон, – совсем иначе перевожу слово «*lepores*».

– Как же вы его переводите? – спросил Лафонтен.

– Я перевожу следующим образом: «Зайцы спасаются бегством, узрев господина Фуке».<sup>2</sup>

Взрыв хохота; суперинтендант смеется вместе со всеми.

---

<sup>2</sup> Игра слов: *lepures* означает по-латыни забавы; *lepores* – зайцы.

- При чем тут зайцы? – вмешивается уязвленный Конрар.
- Кто не радуется душою, видя господина Фуке во всем блеске его парламентской власти, тот заяц.
- О, о! – пробормотали поэты.
- *Quo non ascendam*,<sup>3</sup> – заявляет Конрар, – представляется мне невозможным рядом с прокурорскою мантией.
- А мне представляется, что этот девиз невозможен без этой мантии, – говорит упорно стоящий на своем Пелисон. – Что вы думаете об этом, Гурвиль?
- Я думаю, – ответил Гурвиль, – что прокурорская мантия вещь неплохая, но полтора миллиона все же дороже ее.
- Присоединяюсь к Гурвилю! – воскликнул Фуке, обрывая тем самым спор, ибо его мнение не могло, разумеется, не перевесить все остальные.
- Полтора миллиона! – проворчал Пелисон. – Черт подери! Я знаю одну индийскую басню...
- Расскажите-ка, расскажите, – попросил Лафонтен, – мне также следует познакомиться с нею.
- Приступайте, мы слушаем!
- У черепахи был панцирь, – начал Пелисон. – Она скрывалась в нем, когда ей угрожали враги. Но вот кто-то сказал черепахе: «Летом вам, наверное, очень жарко в этом домике, и, кроме того, мы не видим вас во всей вашей прелести, а между тем я знаю ужа, который выложит за него полтора миллиона».
- Превосходно! – воскликнул со смехом Фуке.
- Ну а дальше? – поторопил Лафонтен, заинтересовавшийся больше баснею, чем вытекающей из нее моралью.
- Черепаха продала панцирь и осталась нагой. Голодный орел увидел ее, ударом клюва убил и сожрал.
- А мораль? – спросил Конрар.
- Мораль состоит в том, что господину Фуке не следует расставаться со своей прокурорскою мантией.
- Лафонтен принял эту мораль всерьез и возразил своему собеседнику:
- Но вы забыли Эхила.
- Что вы хотите сказать?
- Эхила Плешивого, как его называли.
- Что же из этого следует?
- Эхила, череп которого показался орлу, парящему в высоте, – кто знает, быть может, это был тот самый орел, о котором вы говорили, – большому любителю черепах, самым обыкновенным камнем, и он бросил на него черепаху, укрывшуюся под своим панцирем.
- Господи боже! Конечно, Лафонтен прав, – сказал в раздумье Фуке. – Всякий орел, если он захочет съесть черепаху, легко сумеет разбить ее панцирь, и, воистину, счастливы те черепахи, за покрывку которых какой-нибудь уж готов заплатить полтора миллиона. Пусть мне дадут такого ужа, столь же щедрого, как в басне, рассказанной Пелисоном, и я отдам ему панцирь.
- *Rara avis in terris*,<sup>4</sup> – вздохнул Конрар.
- Птица, подобная черному лебедю, разве не так? – ухмыльнулся Лафонтен. – Совершенно черная и очень редкая птица. Ну что же, я обнаружил ее.

---

<sup>3</sup> Куда только я не взберусь? (*лат.*) – девиз Фуке, начертанный на его гербе под изображением белки.

<sup>4</sup> Редкая на земле птица (*лат.*) – слова Ювенала (Сатиры, VI, 165) употребляемые в качестве поговорки для обозначения чего-либо редко встречающегося.

– Вы нашли покупателя на должность генерального прокурора? – воскликнул Фуке.

– Да, сударь, нашел.

– Но господин суперинтендант ни разу не говорил, что намерен продать ее, – возразил Пелисон.

– Простите, но вы сами говорили об этом, – сказал Конрар.

– И я свидетель, – добавил Гурвиль.

– Хорошие разговоры, однако, он ведет обо мне! Но кто же ваш покупатель, отвечайте-ка, Лафонтен? – спросил Фуке.

– Совсем черная птица, советник парламента, славный малый... Ванель.

– Ванель! – воскликнул Фуке. – Ванель! Муж...

– Вот именно, сударь... ее собственный муж.

– Бедняга, – сказал Фуке, заинтересованный сообщением Лафонтена, – значит, он мечтает о должности генерального прокурора?

– Он мечтает быть всем, чем являетесь вы, и делать то же, что делали вы, – вставил Гурвиль.

– Это очень забавно, расскажите-ка подробнее, Лафонтен.

– Дело обстоит очень просто. Время от времени мы видимся с ним. Вот и сегодня я встретил его на площади у Бастилии; он прогуливался там в то самое время, когда я собирался нанять экипаж, чтобы ехать сюда.

– Он, конечно, подстерегал жену, – прервал Лафонтена Лоре.

– О нет, что вы! – без стеснения возразил Фуке. – Он не ревнив.

– И вот он подходит ко мне, обнимает меня, ведет в кабачок Имаж-сен-Фиакр и начинает рассказывать про свои горести.

– У него, стало быть, горести?

– Да, его супруга прививает ему честолюбие. Ему говорили о какой-то парламентской должности, о том, что было произнесено имя господина Фуке, и вот с этого самого часа госпожа Ванель только и делает, что мечтает стать генеральной прокуроршей, и всякую ночь, когда она не видит себя во сне таковою, она прямо умирает от тоски.

– Черт возьми!

– Бедная женщина, – произнес Фуке.

– Подождите. Конрар утверждает, что я не умею вести дела, но вы сами увидите, как я вел себя в этом случае. «Знаете ли вы, – говорю я Ванелю, – что это очень дорого стоит, такая должность, как у господина Фуке?» «Ну а сколько же, например?» – спрашивает Ванель. «Господин Фуке не продал ее за миллион семьсот тысяч ливров, которые ему предлагали». «Моя жена, – отвечает Ванель, – оценивала ее приблизительно в миллион четыреста тысяч». «Наличными?» «Да, наличными: она только что продала поместье в Гиени и получила за него деньги».

– Это недурной куш, если захватить его сразу, – поучительно заметил аббат Фуке, который до этих пор не проронил ни одного слова.

– Бедная госпожа Ванель, – прошептал Фуке.

Пелисон пожал плечами и сказал Фуке на ухо:

– Демон?

– Вот именно... И было бы очень забавно деньгами этого демона исправить зло, которое причинил себе ангел ради меня.

Пелисон удивленно посмотрел на Фуке, мысли которого направились теперь совсем по другому руслу.

– Так что же, – спросил Лафонтен, – как обстоит дело с моими переговорами?

– Замечательно, мой милый поэт.

– Все это так, но нередко человек хвастает, будто готов купить лошадь, а на поверку у него не оказывается денег, чтобы заплатить за уздечку, – заметил Гурвиль.

– Ванель, пожалуй, откажется, если мы поймаем его на слове, – вставил аббат Фуке.

– Вам приходят в голову подобные мысли лишь потому, что вы не знаете развязки моей истории, – снова начал Лафонтен.

– А, есть и развязка? Что же вы тянете? – воскликнул Гурвиль.

– *Semper ad adventum*,<sup>5</sup> не так ли? – сказал Фуке тоном вельможи, который позволяет себе искажать цитаты.

Латинисты заплодировали.

– А развязка моя, – вскричал Лафонтен, – заключается в том, что этот упрямец Ванель, узнав, что мой путь лежит в Сен-Манде, умолил меня прихватить его вместе с собой.

– О, о!

– И устроить ему, если возможно, свидание с монсеньором. Он сейчас дожидается на лужайке Бель-Эр.

– Словно жук.

– Вы говорите это, Гурвиль, имея в виду его усики. Ах вы, злостный насмешник!

– Господин Фуке, ваше слово!

– Мое слово? По-моему, не подобает, чтобы муж госпожи Ванель простудился у меня на пороге; пошлите за ним, Лафонтен, раз вы знаете, где он находится.

– Я сам отправлюсь за ним.

– И я с вами, – заявил аббат Фуке, – и понесу мешки с золотом.

– Прошу без шуток, – строго сказал Фуке, – дело серьезное, если тут и впрямь есть настоящее дело. Но прежде всего давайте будем гостеприимны. Попросите от моего имени извинения у этого милого человека и передайте ему, что я весьма огорчен, заставив его дожидаться, но ведь я не знал о его приезде.

Лафонтен побежал за Ванелем. За ним поспешил Гурвиль, и это оказалось весьма кстати, так как поэт, отдавшись своим вычислениям, сбился с пути и направился было к Сен-Мару.

Через четверть часа Ванель уже входил в кабинет суперинтенданта, тот самый кабинет, который вместе со всеми смежными помещениями мы описали в начале нашего повествования.

Увидев Ванеля, Фуке подозвал Пелисона и в течение нескольких минут что-то шептал ему на ухо.

– Запомните хорошенько, – сказал он ему, – проследите за тем, чтобы в карету было уложено все серебро, посуда и все драгоценности. Возьмите вороных лошадей, пусть ювелир отправится вместе с вами. Задержите ужин до приезда госпожи де Бельер.

– Надо бы предупредить госпожу де Бельер, – предложил Пелисон.

– Не к чему. Я сам позабочусь об этом.

– Отлично.

– Идите, друг мой.

Пелисон ушел, не очень-то хорошо понимая, в чем дело, но, как это бывает с преданными друзьями, исполненный доверия к воле того, кому он привык подчиняться во всем. В этом сила избранных душ. Недоверие – свойство низких натур.

Ванель склонился перед суперинтендантом. Он собрался было начать длинную речь.

– Садитесь, сударь, – обратился к нему Фуке. – Кажется, вы хотите купить мою должность?

– Монсеньор...

---

<sup>5</sup> Фуке следовало сказать: «*Semper ad eventum (festinat)*» (Гораций. Наука поэзии, 148), что означает: всегда торопится к развязке. *Ad adventum* значит: к приходу.

– Сколько вы можете заплатить за нее?

– Это вам, монсеньор, надлежит назвать сумму. Я знаю, что вам уже делали известные предложения.

– Мне говорили, что госпожа Ванель оценивает мою должность в миллион четыреста тысяч?

– Это все, чем мы с нею располагаем.

– Вы можете расплатиться наличными?

– У меня нет с собой денег, – отвечал наивно Ванель, приготовившийся к борьбе, хитростям, к шахматным комбинациям и озадаченный такой простотой и величием.

– Когда же они будут у вас?

– Как только прикажете, монсеньор.

Он трепетал при мысли, что Фуке, быть может, издевается над ним.

– Если б вам не нужно было возвращаться ради денег в Париж, я бы сказал – немедленно...

– О монсеньор!..

– Но, – перебил суперинтендант, – отложим расчеты и подписание договора на завтра.

– Пусть будет по-вашему, – согласился оглушенный и похолодевший Ванель.

– Итак, на шесть часов утра, – добавил Фуке.

– На шесть часов, – повторил Ванель.

– Прощайте, господин Ванель. Передайте вашей супруге, что я целую ей ручки.

И Фуке встал.

Тогда Ванель, с налившимися кровью глазами и потеряв голову, произнес:

– Монсеньор, итак, вы даете честное слово?

Фуке повернул к нему голову и спросил:

– Черт подери, а вы?

Ванель смешался, вздрогнул и кончил тем, что робко протянул руку. Фуке благородным жестом протянул навстречу свою. И честная рука на секунду коснулась влажной руки лицемера. Ванель сжал пальцы Фуке, чтобы убедить себя в том, что это не сон. Суперинтендант едва приметным движением освободил свою руку.

– Прощайте, – сказал он Ванелю.

Ванель попятился к двери, торопливо прошел через приемные комнаты и исчез за порогом дома.

## VIII. Столовое серебро и брильянты госпожи де Бельер

Отпустив Ванеля, Фуке на минуту задумался.

«Чего бы ни сделать для женщины, которую когда-то любил, – все не будет чрезмерным. Маргарита жаждет стать прокуроршей. Почему бы и не доставить ей этого удовольствия? А теперь, когда самая щепетильная совесть не могла бы меня ни в чем упрекнуть, отдадим свои помыслы той, которая любит меня. Госпожа де Бельер, наверное, уже на месте».

И он взглянул в направлении потайной двери. Тщательно заперев кабинет, он открыл ее, спустился в подземный ход, который вел из его дома в Венсенский замок, и поспешно отправился по этому коридору к обычному месту их встреч.

Он даже не предупредил свою подругу звонком, так как знал, что она никогда не опаздывает на свидания.

Маркиза и в самом деле опередила его и ждала. Суперинтендант постучал, и она тотчас же подошла к двери, чтобы взять просунутую под нее записку.

*«Приезжайте, маркиза. Вас ожидают к ужину».*

Оживленная и счастливая, г-жа де Бельер села в карету на Венсенской аллее и через несколько мгновений протянула руку Гурвилю, который, чтобы доставить удовольствие своему начальнику и министру, ожидал ее во дворе на крыльце.

Она не заметила, как во двор влетела разгоряченная, вся в белой пене вороная упряжка Фуке, доставившая в Сен-Манде Пелисона и того самого ювелира, которому она продала свою посуду и драгоценности. Пелисон ввел его в кабинет, где все еще находился Фуке.

Суперинтендант поблагодарил ювелира за то, что он сохранил, как если бы дело шло о закладе, сокровища, которые имел право продать. Он бросил взгляд на общую сумму счета: она достигала миллиона трехсот тысяч ливров. Затем, устроившись возле бюро, он выписал чек на миллион четыреста тысяч, подлежащий оплате наличными из его кассы на следующий день до полудня.

– Целых сто тысяч прибыли! – вскричал ювелир. – Ах, монсеньор, как вы щедры!

– Нет, нет, сударь, – сказал Фуке, потрепав его по плечу, – бывает порой деликатность, которую оплатить невозможно. Прибыль приблизительно та же, какую вы могли бы извлечь, продав эти вещи; но за мною также проценты.

С этими словами он снял со своего кружевного манжета усыпанную брильянтами запонку, которую этот же ювелир неоднократно оценивал в три тысячи пистолей, и обратился к нему:

– Возьмите же это на память, и до свидания. Вы человек исключительной честности.

– А вы, монсеньор, – воскликнул глубоко тронутый ювелир, – вы славный вельможа!

Фуке выпустил достойного ювелира через потайную дверь и пошел навстречу г-же де Бельер, уже окруженной гостями.

Маркиза, всегда очаровательная, в этот день была ослепительно хороша.

– Не находите ли вы, господа, что маркиза нынешним вечером не имеет себе подобных? – спросил Фуке. – Знаете ли вы, почему?

– Потому что госпожа де Бельер – красивейшая из женщин, – отвечал кто-то из гостей.

– Нет, потому что она лучшая среди женщин. Однако... все драгоценности, надетые этим вечером на маркизе, – поддельные.

Госпожа де Бельер покраснела.

– О, это можно говорить без всякого опасения женщине, обладающей лучшими в Париже брильянтами, – раздались голоса окружающих.

– Ну, что вы на это скажете? – тихо спросил Фуке Пелисона.

- Наконец-то я понял. Вы очень хорошо поступили.
- То-то же, – засмеялся Фуке.
- Кушать подано, – торжественно возгласил Ватель.

Волна приглашенных устремила в столовую гораздо поспешнее, чем это принято на министерских приемах; здесь их ожидало великолепное зрелище.

На буфетах, на поставцах, на столе среди цветов и свечей ослепительно блистала богатейшая золотая и серебряная посуда. Это были остатки старинных сокровищ, изваянных, отлитых и вычеканенных флорентийскими мастерами, привезенными Медичи в те времена, когда во Франции еще не перевелось золото. Эти чудеса из чудес искусства, запрятанные или зарытые в землю во время гражданских распрей, робко появлялись на свет, когда наступал перерыв в тех войнах, которые вели люди хорошего тона и которые звались Фрондой. Сеньоры, сражаясь между собой, убивали друг друга, но не позволяли себе грабежа. На всей посуде был герб госпожи де Бельер.

- Как, – вскричал Лафонтен, – тут везде П. и Б.!

Но наибольшее восхищение вызвал прибор маркизы, расставленный по указанию самого Фуке. Перед ним возвышалась пирамида брильянтов, сапфиров, изумрудов и античных камней; сердолики, резанные малоазийскими греками, в золотой мизийской оправе, изумительная древнеалександрийская мозаика в серебре, тяжелые египетские браслеты времен Клеопатры лежали в громадном блюде – творении Палисси, стоявшем на треножнике из золоченой бронзы работы Бенвенуто Челлини.

Лишь только маркиза увидела пред собою все то, чего она не надеялась снова увидеть, лицо ее покрылось мертвенной бледностью. Глубокое молчание, предвестник сильных душевных потрясений, воцарилось в этой ошеломленной и встревоженной зале.

Фуке даже не подал рукой знака, чтоб удалить лакеев в расшитых кафтанах, сновавших, как торопливые пчелы, вокруг громадных столов и буфетов.

– Господа, – сказал он, – посуда, которую вы здесь видите, принадлежала госпоже де Бельер. Однажды, узнав, что один из ее друзей попал в стесненные обстоятельства, она отослала все это золото и серебро вместе с драгоценностями, лежащими грудой пред нею, к своему ювелиру. Столь великодушный поступок должен быть по достоинству оценен такими истинными друзьями, как вы. Счастлив тот, кто внушает такую любовь! Выпьем же за здоровье госпожи де Бельер!

Громкие крики покрыли слова Фуке; онемевшая маркиза откинулась в кресле ни жива ни мертва; еще немного, и бедная женщина лишилась бы чувств, уподобившись птицам Древней Эллады, пролетавшим над ареною олимпийских ристалищ.

– А теперь, – предложил Пелисон, которого всегда трогала добродетель и приводила в восторг красота, – а теперь выпьем за того человека, ради которого маркиза свершила столь прекрасный поступок, ибо тот, о ком идет речь, воистину достоин любви.

Очередь дошла до маркизы. Она встала, бледная и улыбающаяся, протянула дрожащей рукою стакан, и ее пальцы коснулись пальцев Фуке, тогда как ее еще затуманенный взгляд жаждал ответной любви, сжигавшей благородное сердце ее великого друга.

Ужин, начавшийся столь примечательным образом, скоро превратился в настоящее пиршество. Никто не старался быть остроумным, и все же никто не страдал отсутствием остроумия.

Лафонтен забыл о своем любимом вине Горњи и позволил Вателю примирить себя с ронскими и испанскими винами.

Аббат Фуке до того подобрел, что Гурвиль шепнул ему на ухо:

– Вы стали столь нежным, сударь, что смотрите, как бы кто-нибудь не вздумал вас съесть.

Часы текли неприметно и радостно, как бы осыпая пирующих розами. Вопреки своему давнему обыкновению, суперинтендант не встал из-за стола перед обильным десертом. Он улы-

бался своим друзьям, захмелевшим тем опьянением, которое обычно бывает у всех, чьи сердца захмелели раньше, чем головы. В первый раз за весь вечер он посмотрел на часы.

Вдруг к крыльцу подкатила карета, и – поразительная вещь! – звук колес уловили в зале среди шума и песен. Фуке прислушался, потом обратил взгляд к прихожей. Ему показалось, что там раздаются шаги и что эти шаги не попирают землю, но гнетут его сердце.

Инстинктивно он отодвинулся от г-жи де Бельер, ноги которой касался в течение двух часов.

– Господин д'Эрбле, ваннский епископ, – доложил во весь голос привратник.

И на пороге показался мрачный и задумчивый Арамис, голову которого вдруг украсили два конца гирлянды, которая только что распалась на части, так как пламя свечи пережгло скреплявшие ее нитки.

## VIII. Расписка кардинала Мазарини

Фуке, несомненно, встретил бы шумным приветствием этого вновь прибывшего друга, если бы ледяной вид и рассеянный взгляд Арамиса не побудили суперинтенданта к соблюдению обычной для него сдержанности.

– Не поможете ли вы нам в нашем единоборстве с десертом? – все же спросил Фуке. – Не ужасает ли вас наше бесшабашное пиршество?

– Монсеньор, – почтительно сказал Арамис, – я начну с извинения, что нарушаю ваше искрящееся весельем собрание, но я попрошу, по завершении вашего пира, уделить мне несколько мгновений, чтобы переговорить о делах.

Слово «дела» заставило насторожиться кое-кого между эпикурейцами. Фуке поднялся со своего места.

– Неизменно дела, господин д'Эрбле, – сказал он. – Счастье еще, что дела появляются только под конец ужина.

С этими словами он предложил руку г-же де Бельер, посмотревшей на него с некоторым беспокойством; проводив ее в гостиную, что была рядом, он поручил ее наиболее благоразумным из своих сотрапезников.

Сам же, взяв под руку Арамиса, удалился с ним к себе в кабинет. Тут Арамис сразу же забыл о почтительности и этикете. Он сел и спросил:

– Догадайтесь, кого мне пришлось повидать этим вечером.

– Дорогой шевалье, всякий раз, как вы начинаете свою речь подобным вступлением, я ожидаю, что вы сообщите мне что-нибудь неприятное.

– И на этот раз, дорогой друг, вы не ошиблись, – подтвердил Арамис.

– Ну так не томите меня, – безразлично добавил Фуке.

– Итак, я видел госпожу де Шеврез.

– Старую герцогиню? Или, может быть, ее тень?

– Старую волчицу во плоти и крови.

– Без зубов?

– Возможно; однако не без когтей.

– Чего же она может хотеть от меня? Я не скуп по отношению к не слишком целомудренным женщинам. Это качество всегда ценится женщинами, и даже тогда, когда они больше не могут надеяться на любовь.

– Госпожа де Шеврез отлично осведомлена о том, что вы не скупы, ибо она хочет выманить у вас деньги.

– Вот как! Под каким же предлогом?

– Ах, в предлогах у нее недостатка не будет. По-видимому, у нее есть кое-какие письма Мазарини.

– Меня это нисколько не удивляет. Прелат был прославленным волокитой.

– Да, но, вероятно, эти письма не имеют отношения к его любовным делам. В них идет речь, как говорят, о финансах.

– Это менее интересно.

– Вы решительно не догадываетесь, к чему я клоню?

– Решительно.

– Вы никогда не слыхали о том, что вас обвиняют в присвоении государственных сумм?

– Сто раз! Тысячу раз! С тех пор как пребываю на службе, дорогой мой д'Эрбле, я только об этом и слышу. Совершенно так же, епископ, вы постоянно слышите упреки в безверии; или, будучи мушкетером, слышали обвинения в трусости. Министра финансов без конца обвиняют в том, что он разворовывает эти финансы.

– Хорошо. Но давайте внесем в это дело полную ясность, ибо, судя по тому, что говорит герцогиня, Мазарини в своих письмах выражается весьма недвусмысленно.

– В чем же эта недвусмысленность?

– Он называет сумму приблизительно в тринадцать миллионов, отчитаться в которой вам было бы затруднительно.

– Тринадцать миллионов, – повторил суперинтендант, растягиваясь в кресле, чтобы было удобнее поднять лицо к потолку. – Тринадцать миллионов!.. Ах ты господи, дайте припомнить, какие же это миллионы среди всех тех, в краже которых меня обвиняют!

– Не смейтесь, дорогой друг, это очень серьезно. Несомненно, у герцогини имеются письма, и эти письма, надо полагать, подлинные, так как она хотела продать их за пятьсот тысяч ливров.

– За такие деньги можно купить хорошую клевету, – отвечал Фуке. – Ах да, я знаю, о чем вы говорите. – И суперинтендант засмеялся от всего сердца.

– Тем лучше! – сказал не очень-то успокоенный Арамис.

– Я припоминаю эти тринадцать миллионов. Ну да, это и есть то самое!

– Вы меня чрезвычайно обрадовали. В чем тут дело?

– Представьте себе, друг мой, что однажды сеньор Мазарини, упокой господи его душу, получил тринадцать миллионов за уступку спорных земель в Вальтелине; он их вычеркнул из приходных книг, перевел на меня и заставил затем вручить ему эти деньги на военные нужды.

– Отлично. Значит, в употреблении их вы можете отчитаться?

– Нет, кардинал записал эти деньги на мое имя и послал мне расписку.

– Но у вас сохраняется эта расписка?

– Еще бы! – кивнул Фуке и спокойно направился к большому бюро черного дерева с инкрустациями из золота и перламутра.

– Меня приводят в восторг, – восхитился Арамис, – во-первых, ваша безупречная память, затем хладнокровие и, наконец, порядок, царящий в ваших делах, тогда как по существу вы – поэт.

– Да, – отвечал Фуке, – мой порядок – порождение лени; я завел его, чтобы не терять даром времени. Так, например, я знаю, что расписки Мазарини в третьем ящике под литерой М; я открываю ящик и сразу беру в руку нужную мне бумагу. Даже ночью без свечи я легко разыщу ее. – И уверенною рукою он ощупал связку бумаг, лежавших в открытом ящике. – Более того, – продолжал Фуке, – я помню эту бумагу, как будто вижу ее перед собой. Она очень плотная, немного шероховатая, с золотым обрезом; на числе, которым она помечена, Мазарини посадил кляксу. Но вот в чем дело: бумага, она словно чувствует, что ее ищут, что она нужна до разреза, и потому прячется и бунтует.

И суперинтендант заглянул в ящик.

Арамис встал.

– Странно, – протянул Фуке.

– Ваша память на этот раз изменяет вам, дорогой друг, поищите в какой-нибудь другой связке.

Фуке взял связку, перебрал ее еще раз и побледнел.

– Не упорствуйте и поищите где-нибудь в другом месте, – сказал Арамис.

– Бесполезно, бесполезно, до этих пор я ни разу не ошибался; никто, кроме меня, не касается этих бумаг, никто не открывает этого ящика, к которому, как вы видите, я велел сделать секретный замок, и его шифр знаю лишь я один.

– К какому же выводу вы приходите? – спросил встревоженный Арамис.

– К тому, что квитанция Мазарини украдена. Госпожа де Шеврез права, шевалье: я присвоил казенные деньги; я взял тринадцать миллионов из сундуков государства, я – вор, господин д'Эрбле.

– Не горячитесь, сударь, не волнуйтесь!

– Как же не волноваться, дорогой шевалье? Причин для этого более чем достаточно. Заправский процесс, заправский приговор, и ваш друг суперинтендант последует в Монфокон за своим коллегой Ангераном де Мариньи, за своим предшественником Самблансе.

– О, не так быстро, – улыбнулся Арамис.

– Почему? Почему не так быстро! Что же, по-вашему, сделала герцогиня де Шеврез с этими письмами? Ведь вы отказались от них, не так ли?

– О, я наотрез отказался. Я предполагаю, что она отправилась продавать их господину Кольберу.

– Вот видите!

– Я сказал, что предполагаю. Я мог бы сказать, что в этом уверен, так как поручил проследить за нею. Расставшись со мной, она вернулась к себе, затем вышла через черный ход своего дома и отправилась в дом интенданта на улицу Круа-де-Пти-Шан.

– Значит, процесс, скандал и бесчестье, и все как гром с неба: слепо, жестоко, безжалостно.

Арамис подошел к Фуке, который весь трепетал в своем кресле перед открытыми ящиками. Он положил ему на плечо руку и сказал ласковым тоном:

– Никогда не забывайте, что положение господина Фуке не может идти в сравнение с положением Самблансе или Мариньи.

– Почему же, господи боже?

– Потому что против этих министров был возбужден процесс и приговор приведен в исполнение. А с вами этого случиться не может.

– И опять-таки почему? Ведь казнокрад во все времена – преступник?

– Преступник, имеющий возможность укрыться в убежище, никогда не бывает в опасности.

– Спасаться? Бежать?

– Я говорю не об этом; вы забываете, что такие процессы могут быть возбуждены только парламентом, что ведение их поручается генеральному прокурору и что вы сами являетесь таковым. Итак, если только вы не пожелаете осудить себя самого...

– О! – вдруг воскликнул Фуке, стукнув кулаком по столу.

– Ну что, что еще?

– То, что я больше не прокурор.

Теперь мертвенно побледнел Арамис, и он сжал руки с такою силою, что хрустнули пальцы. Он растерянно посмотрел на Фуке и, отчеканивая каждый слог, произнес:

– Вы больше не прокурор?

– Нет.

– С какого времени?

– Тому уже четыре или пять часов.

– Берегитесь, – холодно перебил Арамис, – мне кажется, что вы не в себе, дорогой мой. Очнитесь!

– Я говорю, – продолжал Фуке, – что не так давно явился ко мне некто, посланный моими друзьями, и предложил миллион четыреста тысяч за мою должность. И я продал ее.

Арамис замолк. На его лице мелькнуло выражение ужаса, и это подействовало на суперинтенданта сильнее, чем могли бы подействовать все крики и речи на свете.

– Значит, вы очень нуждались в деньгах? – проговорил наконец Арамис.

– Да, тут был замешан долг чести.

И в немногих словах Фуке рассказал Арамису о великодушии г-жи де Бельер и о том способе, каким он посчитал нужным отплатить за это великодушие.

– Очень красивый жест, – сказал Арамис. – Во сколько же он вам обошелся?

- Ровно в миллион четыреста тысяч, вырученных за мою должность.
- Которые вы, не раздумывая, тут же на месте и получили? О, мой неразумный друг!
- Я еще не получил их, но получу завтра.
- Значит, это дело еще не закончено?

– Оно должно быть закончено, так как я выписал ювелиру чек, по которому он должен ровно в двенадцать получить эту сумму из моей кассы, куда она будет внесена между шестью и семью часами утра.

– Слава богу! – вскричал Арамис и захлопал в ладоши. – Ничто, стало быть, не закончено, раз вам еще не уплачено.

- А ювелир?
- Без четверти двенадцать вы получите от меня миллион четыреста тысяч.
- Погодите! Ведь в шесть утра я должен подписать договор.
- Ручаюсь, что вы его не подпишете.
- Шевалье, я дал слово.
- Вы возьмете его назад, вот и все.
- Что вы сказали! – воскликнул глубоко потрясенный Фуке. – Взять назад слово, которое дал Фуке?

На почти негодующий взгляд министра Арамис ответил взглядом, исполненным гнева.

– Сударь, – сказал он, – мне кажется, что я с достаточным основанием могу быть назван порядочным человеком, не так ли? Под солдатским плащом я пятьсот раз рисковал жизнью, в одежде священника я оказал еще более важные услуги богу, государству, а также друзьям. Честное слово стоит не больше того, чем человек, давший его. Когда он держит его – это чистое золото; оно же – разящая сталь, когда он не желает его держать. В этом случае он защищается этим словом, как оружием чести, ибо если порядочный человек не держит своего честного слова, значит, он в смертельной опасности, значит, он рискует гораздо большим, чем та выгода, которую может извлечь из этого его враг. В таком случае, сударь, обращаются к богу и своему праву.

Фуке опустил голову:

– Я бедный бретонец, простой и упрямый, и мой ум восхищается вашим и страшится его. Я не говорю, что держу свое слово из добродетели. Если хотите, я держу его по привычке. Но простые люди достаточно простодушны, чтоб восхищаться этой привычкой. Это единственная моя добродетель. Оставьте же мне воздаваемую за нее добрую славу.

– Значит, не позже как завтра вы подпишете акт о продаже должности, которая защищает вас от всех ваших врагов?

– Подпишу.

Арамис глубоко вздохнул, осмотрелся вокруг, как тот, кто ищет, что бы ему разбить, и произнес:

– Мы располагаем еще одним средством, и я надеюсь, что вы не откажетесь применить его.

– Конечно, нет, если оно благопристойно... как все, что вы предлагаете, мой дорогой друг.

– Нет ничего более благопристойного, чем побудить вашего покупателя отказаться от сделанной им покупки. Он из числа ваших друзей?

– Разумеется... но...

– Но если это дело вы предоставите мне, я не отчаиваюсь.

– Предоставляю вам быть полным хозяином в нем.

– С кем же вы вели ваши переговоры? Кто он?

– Я не знаю, знаете ли вы членов парламента?

– Большинство. Это какой-нибудь президент?

– Нет, это простой советник.

– Вот как!

– И имя его – Ванель.

Арамис побагровел.

– Ванель! – вскричал он, вставая со своего кресла. – Ванель! Муж Маргариты Ванель?

– Да.

– Вашей бывшей любовницы?

– Вот именно, дорогой друг. Ей захотелось стать гене-ральной прокуроршей. Я должен был предоставить хоть это бедняге Ванелю, и, кроме того, я выигрываю также на том, что доставляю удовольствие его милой жене.

Арамис подошел вплотную к Фуке, взял его за руку и хладнокровно спросил:

– Знаете ли вы имя нового возлюбленного Маргариты Ванель? Его зовут Жан-Батист Кольбер. Он интендант финансов. Он живет на улице Круа-де-Пти-Шан, куда сегодня вечером ездила госпожа де Шеврез с письмами Мазарини, которые она хочет продать.

– Боже мой, боже мой! – прошептал Фуке, вытирая струившийся по лбу пот.

– Теперь вы начинаете понимать?

– Что я погиб, погиб безвозвратно? Да, я это понял!

– Не находите ли вы, что тут придется, пожалуй, соблюдать свое слово несколько менее твердо, чем Регул?

– Нет, – ответил Фуке.

– Упрямые люди, – пробормотал Арамис, – всегда найдут способ заставить восхищаться собою.

Фуке протянул ему руку.

В этот момент на роскошных часах из инкрустированной золотом черепахи, стоявших на полке камина, пробило шесть. В передней скрипнула дверь, и Гурвиль, подойдя к кабинету, сказал:

– Господин Ванель спрашивает, может ли принять его монсеньор?

Фуке отвел глаза от глаз Арамиса и ответил:

– Просите господина Ванеля войти.

## IX. Черновик Кольбера

Разговор был в самом разгаре, когда Ванель вошел в комнату. Для Фуке и Арамиса его появление было не больше чем точкою, которой кончается фраза. Но для Ванеля присутствие Арамиса в кабинете Фуке означало нечто совершенно иное.

Итак, покупатель, едва переступив порог комнаты, устремил удивленный взгляд, который вскоре стал испытующим, на тонкое и вместе с тем решительное лицо ваннского епископа.

Что до Фуке, то он, как истый политик, то есть тот, кто полностью владеет собой, усилением воли стер со своего лица следы перенесенных волнений, вызванных известием Арамиса. Здесь больше не было человека, раздавленного несчастьем и мечущегося в поисках выхода. Он поднял голову и протянул руку, приглашая Ванеля войти. Он снова был первым министром, снова был любезным хозяином.

Арамис знал суперинтенданта до тонкостей. Ни деликатность его души, ни широта ума уже не могли поразить Арамиса. Отказавшись на время от участия в разговоре, чтобы позднее активно вмешаться в него, он взял на себя трудную роль стороннего наблюдателя, который стремится узнать и понять.

Ванель был заметно взволнован. Он вышел на середину кабинета, низко кланяясь всем и всему.

– Я явился... – начал он запинаясь.

Фуке кивнул:

– Вы точны, господин Ванель.

– В делах, монсеньор, точность, по-моему, добродетель.

– Разумеется, сударь.

– Простите, – перебил Арамис, указывая на Ванеля пальцем и обращаясь к Фуке, – простите, это тот господин, который желает купить вашу должность, не так ли?

– Да, это я, – ответил Ванель, пораженный высокомерным тоном, которым Арамис задал вопрос. – Но как же мне надлежит обращаться к тому, кто достаивает меня...

– Называйте меня монсеньор, – сухо сказал Арамис.

Ванель поклонился.

– Прекратим церемонии, господа, – вмешался Фуке. – Давайте перейдем к делу.

– Монсеньор видит, – заговорил Ванель, – я ожидаю его приказаний.

– Напротив, это я, как кажется, ожидаю.

– Чего же ждет монсеньор?

– Я подумал, что вы, быть может, хотите мне что-то сказать.

– О, он изменил решение, я погиб! – прошептал про себя Ванель. Но, набравшись мужества, он продолжал: – Нет, монсеньор, мне нечего добавить к тому, что было сказано мною вчера и что я готов подтвердить сегодня.

– Будьте искренни, господин Ванель: не слишком ли тяжелы для вас условия нашего договора? Что вы на это ответите?

– Разумеется, монсеньор, миллион четыреста тысяч ливров – это немалая сумма.

– Настолько немалая, что я подумал... – начал Фуке.

– Вы подумали, монсеньор? – живо воскликнул Ванель.

– Да, что, быть может, эта покупка вам не по средствам...

– О, монсеньор!

– Успокойтесь, господин Ванель, не тревожьтесь; я не стану осуждать вас за неисполнение вашего слова, так как вы, очевидно, не в силах его сдержать.

– Нет, монсеньор, вы, без сомнения, осудили бы меня и были бы правы, – ответил Ванель, – ибо лишь человек безрассудный или безумец может брать на себя обязательство,

которого не в состоянии выполнить. Что до меня, то уговор, на мой взгляд, то же самое, что завершенная сделка.

Фуке покраснел. Арамис промычал нетерпеливое «гм».

– Нельзя все же доходить в этом до крайностей, сударь, – сказал суперинтендант. – Ведь душа человеческая изменчива, ей свойственны маленькие, вполне простительные капризы, а порой – так даже вполне объяснимые. И нередко бывает, что еще накануне вы чего-нибудь страстно желали, а сегодня каетесь в этом.

Ванель ощутил, как с его лба стекают на щеки капли холодного пота.

– Монсеньор!.. – пролепетал он в крайнем смущении.

Арамис, чрезвычайно довольный той четкостью, с которой Фуке повел разговор, прислонился к мраморному камину и стал играть золотым ножиком с малахитовой ручкой.

Фуке помолчал с минуту, потом снова заговорил:

– Послушайте, господин Ванель, позвольте объяснить вам положение дел.

Ванель содрогнулся.

– Вы порядочный человек, – продолжал Фуке, – и вы поймете меня как подобает.

Ванель зашатался.

– Вчера я желал продать свою должность.

– Монсеньор, вы не только желали продать, вы сделали больше – вы ее продали.

– Пусть так! Но сегодня я намерен попросить вас, как о большом одолжении, возвратить мне слово, данное мною вчера.

– Вы дали мне это слово, – повторил Ванель, как неумолимое эхо.

– Я знаю. Вот почему я умоляю вас, господин Ванель – слышите, – умоляю вас возвратить мне данное мною слово...

Фуке замолчал. Слова «я умоляю вас», которые, как он видел, не произвели желанного действия, застряли у него в горле.

Арамис, по-прежнему играя ножиком, остановил на Ванеле взгляд, который, казалось, стремился проникнуть до самого дна этой темной души.

Ванель поклонился и произнес:

– Монсеньор, я взволнован честью, которую вы мне оказываете, советуясь со мной о совершившемся факте, но...

– Не говорите «но», дорогой господин Ванель.

– Увы, монсеньор, подумайте о том, что я принес с собой деньги; я хочу сказать – всю сумму полностью.

И он раскрыл толстый бумажник.

– Видите ли, монсеньор, здесь купчая на продажу земли, принадлежавшей моей жене и только что проданной мною. Чек в полном порядке, он скреплен необходимыми подписями, и деньги могут быть выплачены без промедления. Это все равно что наличные деньги. Короче говоря, дело сделано.

– Дорогой господин Ванель, на этом свете всякое сделанное дело, сколь бы важным оно ни казалось, можно разделить, если позволительно таким образом выразиться, чтобы оказать одолжение...

– Конечно... – неловко пробормотал Ванель.

– Чтобы оказать одолжение человеку, который благодаря этому станет другом, – продолжал Фуке.

– Конечно, монсеньор...

– И он тем скорее станет другом, господин Ванель, чем больше оказанная услуга. Итак, сударь, каково ваше решение?

Ванель молчал.

К этому времени Арамис подвел итог своим наблюдениям. Узкое лицо Ванеля, его глубоко посаженные глаза, изогнутые дугою брови – все говорило ваннскому епископу, что перед ним типичный стяжатель и честолюбец. Побивать одну страсть, призывая на помощь другую, – таково было правило Арамиса. Он увидел разбитого и павшего духом Фуке и бросился в бой, вооруженный новым оружием.

– Простите, монсеньор, – начал он, – вы забыли указать господину Ванелю, что понимаете, насколько отказ от покупки нарушил бы его интересы.

Ванель с удивлением посмотрел на епископа: он не ждал отсюда поддержки. Фуке хотел что-то сказать, но промолчал, прислушиваясь к словам епископа.

– Итак, – продолжал Арамис, – чтобы купить вашу должность, господин Ванель продал землю своей супруги, а это серьезное дело; ведь нельзя же переместить миллион четыреста тысяч ливров, а ему пришлось сделать именно это, без заметных потерь и больших затруднений.

– Безусловно, – согласился Ванель, у которого Арамис своим пламенным взглядом вырвал правду из глубины сердца.

– Затруднения, – говорил Арамис, – выражаются в тратах, а когда тратишь деньги, то эти траты занимают первое место среди забот.

– Да, да, – подтвердил Фуке, начинавший понимать намерения Арамиса.

Ванель промолчал – теперь понял и он. Арамис отметил про себя его холодность и нежелание отвечать.

«Хорошо же, – подумал он, – ты молчишь, мерзкая рожа, пока тебе неведома сумма, но погоди, я засыплю тебя такой кучей золота, что ты вынужден будешь капитулировать!»

– Надо предложить господину Ванелю сто тысяч экю, – сказал Фуке, поддаваясь природной щедрости.

Куш был достаточный. Принц, и тот был бы обрадован таким барышом. Сто тысяч экю в те времена получала в приданое королевская дочь.

Ванель даже не шевельнулся.

«Это мошенник, – подумал епископ, – нужно округлить сумму до пятисот тысяч ливров». И он подал знак Фуке.

– По-видимому, вы теряете больше, чем триста тысяч, дорогой господин Ванель, – сказал суперинтендант. – О, здесь даже не в деньгах дело! Ведь вы принесли жертву, продав эту землю. Ну где же была моя голова? Я подпишу вам чек на пятьсот тысяч ливров. И еще буду признателен вам от всего сердца.

Ванель не проявил ни малейшего проблеска радости или жадности. Его лицо было непроницаемо, и ни один мускул на нем не дрогнул.

Арамис бросил на Фуке отчаянный взгляд. Затем, подойдя к Ванелю, он жестом человека, занимающего видное положение, ухватил его за отворот куртки и произнес:

– Господин Ванель, вас не тревожат ни ваши стесненные обстоятельства, ни перемещение вашего капитала, ни продажа вашей земли. Вас занимают более высокие помыслы. Я вижу их. Запомните же хорошенько мои слова.

– Да, монсеньор.

И несчастный затрепетал: огненные глаза прелата сжигали его.

– Итак, от имени суперинтенданта я предлагаю вам не триста тысяч ливров, не пятьсот тысяч, а миллион. Миллион, понимаете? Миллион!

И он нервно встряхнул Ванеля.

– Миллион! – повторил Ванель, бледный как полотно.

– Миллион! То есть по нынешним временам шестьдесят шесть тысяч ливров годового дохода.

– Ну, сударь, – заговорил Фуке, – от таких вещей не отказываются. Отвечайте же – принимаете ли вы мое предложение?

– Невозможно... – пробормотал Ванель.

Арамис сжал губы, лицо его как бы затуманилось облаком. За этим облаком чувствовалась гроза. Он все так же держал Ванеля за отворот его платья.

– Вы купили должность за миллион четыреста тысяч ливров, не так ли? Вам будет дано сверх того еще миллион пятьсот тысяч. Вы заработаете полтора миллиона только на том, что посетили господина Фуке и он протянул вам руку. Вот вам сразу и честь и выгода, господин Ванель.

– Не могу, – глухо ответил Ванель.

– Хорошо! – произнес Арамис и неожиданно разжал пальцы; Ванель, куртку которого он так крепко держал до этого, отлетел назад. – Хорошо, теперь достаточно ясно, зачем вы сюда явились!

– Да, это ясно, – подтвердил Фуке.

– Но... – начал Ванель, пытаясь осмелеть перед слабостью этих благородных людей.

– Мошенник, кажется, хочет возвысить голос! – произнес Арамис тоном властелина, повелевающего всем миром.

– Мошенник? – повторил Ванель.

– Я хотел сказать – негодяй, – добавил Арамис, к которому вернулось его хладнокровие. – Ну, что ж, вытаскивайте ваш договор. Он у вас должен быть где-нибудь под рукой, в каком-нибудь из карманов, как под рукой у убийцы его пистолет или кинжал, спрятанный под плащом.

Ванель пробормотал что-то невнятное.

– Довольно! – крикнул Фуке. – Подавайте сюда договор!

Ванель дрожащей рукой начал рыться в кармане; он вытащил из него бумажник, и в тот момент, когда он подавал Фуке договор, из бумажника выпала какая-то другая бумага. Арамис поспешно поднял ее, так как узнал почерк, которым эта бумага была написана.

– Простите, это черновик договора, – пробормотал Ванель.

– Вижу, – сказал Арамис с улыбкой, разящей сильнее удара бичом, – вижу и в восхищении от того, что этот черновик написан рукой господина Кольбера. Взгляните-ка, мон-сеньор.

И он передал черновик Фуке, который убедился в правоте Арамиса. Этот вдоль и поперек исчерканный договор со множеством добавлений, с полями, совершенно черными от поправок, был живым доказательством интриги Кольбера и окончательно открыл глаза его жертве.

– Ну? – прошептал Фуке.

Ошеломленный Ванель, казалось, готов был провалиться сквозь землю.

– Ну, – начал Арамис, – если бы вы не носили имя Фуке, если бы ваш враг не назывался Кольбером, если бы против вас был один этот презренный вор, я бы сказал вам – отказывайтесь... подобная гнусность освобождает вас от вашего слова; но эти люди подумают, что вы испугались, – они станут меньше бояться вас; итак, монсеньор, подписывайте!

И он подал ему перо.

Фуке пожал Арамису руку, но вместо копии, которую ему подавали, взял черновик.

– Простите, не эту бумагу, – остановил его Арамис. – Она слишком ценная, и вам следовало бы оставить ее у себя.

– О нет, – отвечал Фуке, – я поставлю подпись на акте, собственноручно написанном господином Кольбером. Итак, я пишу: «Подтверждаю руку». – И, подписав, он добавил: – Берите, господин Ванель.

Ванель схватил бумагу, подал деньги и заторопился к выходу.

– погодите, – сказал Арамис. – Уверены ли вы, что тут все деньги сполна? Деньги необходимо считать, господин Ванель, особенно когда господин Кольбер дарит их женщинам. Ведь он

не отличается безграничною щедростью господина Фуке, ваш достойнейший господин Кольбер.

И Арамис, скандируя каждое слово чека, излил весь свой гнев, все скопившееся в нем презрение, каплю за каплей, на негодяя, который в течение четверти часа выносил эту пытку. Потом он приказал ему удалиться, и не при помощи слов, а жестом, как отмахиваются от какого-нибудь наглого деревенщины или отсылают лакея.

По уходе Ванеля прелат и министр, пристально глядя друг другу в глаза, несколько мгновений хранили молчание.

Арамис первый нарушил его:

– Так вот, с кем сравните вы человека, который, перед тем как сражаться с разъяренным, одетым в доспехи и хорошо вооруженным врагом, обнажает грудь, бросает наземь оружие и посылает противнику воздушные поцелуи? Прямота, господин Фуке, есть оружие, нередко применяемое мерзавцами против честных людей, и это приносит им порою успех. Вот почему и честным людям следовало бы пускаться на плутовство и обман, если имеешь дело с мошенниками. Вы могли бы убедиться тогда, насколько сильнее стали бы эти честные люди, не утратив при этом порядочности.

– Но их действия назвали бы действиями мошенников.

– Нисколько; их назвали бы, может быть, своевольными, но вполне честными действиями. Но раз вы с этим Ванелем покончили, раз вы лишили себя удовольствия уничтожить его, отказавшись от вашего слова, раз вы сами вручили ему единственное оружие, которое может вас погубить...

– О, друг мой, – произнес с грустью Фуке, – вы напоминаете мне того учителя философии, о котором на днях рассказывал Лафонтен... Он видит тонущего ребенка и произносит пред ним целую речь по всем правилам риторического искусства.

Арамис улыбнулся.

– Философ – согласен; учитель – согласен; тонущий ребенок – тоже согласен; но ребенок, который будет спасен, вы еще увидите это! Однако прежде поговорим о делах.

Фуке посмотрел на него недоумевающим взглядом:

– Вы рассказывали мне как-то о празднестве в Во, которое предполагали устроить?

– О, – сказал Фуке, – то было в доброе старое время!

– И на это празднество король, кажется, сам себя пригласил?

– Нет, мой милый прелат, – это Кольбер посоветовал королю пригласить себя самого на празднество в Во.

– Да, потому что это празднество обошлось бы так дорого, что вы должны были бы разориться окончательно?

– Вот именно. В доброе старое время, как я сказал, я гордился возможностью показать моим недругам неисчерпаемость моих средств; я почитал для себя честью повергать их в смятение, бросая пред ними миллионы, тогда как они ожидали моего разорения; но теперь мне необходимо рассчитаться с казной, с королем, с собою самим; теперь мне необходимо стать скаредом; я сумею доказать всем, что, располагая грошами, я поступаю так же, как если бы располагал мешками пистолей, и начиная с завтрашнего дня, когда будут проданы мои экипажи, заложены принадлежащие мне дома и урезаны мои траты...

– Начиная с завтрашнего дня, – спокойно перебил Арамис, – вы будете, друг мой, без усталости заниматься приготовлениями к прекрасному празднеству в Во, о котором когда-нибудь станут упоминать как об одном из героических великолепий вашего доброго старого времени.

– Вы не в своем уме, шевалье!

– Я? Вы же сами не верите этому.

– Да знаете ли вы, сколько может стоить самое что ни на есть скромное празднество в Во? Четыре или пять миллионов.

- Я не говорю о самом что ни на есть скромном празднестве, дорогой суперинтендант.
- Но поскольку празднество дается в честь короля, – отвечал Фуке, не поняв Арамиса, – оно не может быть скромным.
- Конечно, оно должно быть самым что ни на есть роскошным.
- Тогда мне придется истратить от десяти до двенадцати миллионов.
- Если понадобится, вы истратите и все двадцать, – сказал Арамис совершенно бесстрастным тоном.
- Где же мне взять их? – спросил Фуке.
- А это моя забота, господин суперинтендант. Вам незачем беспокоиться на этот счет. Деньги будут в вашем распоряжении раньше, чем вы наметите план вашего празднества.
- Шевалье, шевалье! – воскликнул Фуке, у которого голова пошла кругом. – Куда вы меня увлекаете?
- В сторону от той пропасти, – ответил ваннский епископ, – в которую вы едва не свалились. Ухватитесь за мою мантию и не бойтесь.
- Почему же вы прежде не говорили об этом? Был день, когда вы могли бы спасти меня, предоставив мне всего миллион.
- Тогда как сегодня... тогда как сегодня я предоставлю вам двадцать миллионов, – сказал прелат. – Да будет так! Причина этого крайне проста, друг мой: в тот день, о котором вы говорите, у меня не было в распоряжении этого миллиона, тогда как сегодня я легко смогу получить двадцать миллионов, если они понадобятся.
- Да услышит вас бог и спасет меня!
- Арамис улыбнулся своей загадочной улыбкой.
- Меня-то бог слышит всегда, – молвил он, – и это происходит, может быть, оттого, что я очень громко обращаюсь к нему с молитвою.
- Я полностью отдаю себя в вашу власть, – прошептал Фуке.
- О нет, я смотрю на это совсем иначе; напротив, это я в вашей власти. Итак, именно вы, как самый тонкий, самый умный, самый изысканный и изобретательный человек, именно вы и распорядитесь всем вплоть до мельчайших подробностей. Только...
- Только? – переспросил Фуке, как человек, понимающий значительность этого слова.
- Только, предоставляя вам придумывать различные подробности празднества, я оставляю за собой наблюдение за осуществлением их.
- Как это следует понимать?
- Я хочу сказать, что на этот день вы превратите меня в своего дворецкого, в главного распорядителя, в свою, так сказать, правую руку; во мне будут совмещаться и начальник охраны, и мажордом; мне будут подчинены все ваши люди, и у меня будут ключи от дверей; вы, правда, единолично будете отдавать приказания, но вы будете отдавать их через меня; они должны быть повторены моими устами, чтобы их выполняли, вы меня поняли?
- Нет, не понял.
- Но вы принимаете эти условия?
- Еще бы! Конечно, друг мой!
- Мне больше ничего и не нужно. Благодарю вас. Составляйте список гостей.
- Кого же мне приглашать?
- Всех!

## Х. Автору кажется, что пора вернуться к виконту де Бражелону

Наши читатели видели, что в этой повести параллельно разворачивались приключения как молодого, так и старшего поколения.

У одних – отблеск былой славы, горький жизненный опыт. У них же – покой, наполнивший сердце и усыпляющий кровь возле рубцов, которые прежде были жестокими ранами. У других – поединки гордости и любви, мучительные страдания и несказанные радости; бьющая ключом жизнь вместо воспоминаний.

Если некоторая пестрота в эпизодах нашего повествования и поразила внимательный взор читателя, то причина ее в богатых оттенках нашей двойной палитры, которая дарит краски двум разворачивающимся бок о бок картинам, смешивающим и сочетающим строгие тона с радостными и яркими. В волнениях одной мы обнаруживаем не нарушаемый ничем мир и покой другой. Порассуждав в обществе стариков, охотно предаешься безумствам в обществе юношей.

Поэтому, если нити нашей повести недостаточно крепко связывают главу, которую мы сочиняем, с той, которую только что сочинили, пусть это столь же мало смущает нас, как смущало, скажем, Рюисдала то обстоятельство, что он пишет осеннее небо, едва закончив весенний пейзаж. Мы предлагаем читателю поступить точно так же и вернуться к Раулю де Бражелону, найдя его на том самом месте, на котором мы с ним расстались в последний раз.

Возбужденный, испуганный, впавший в отчаяние или, вернее, потерявший рассудок, без воли, без заранее обдуманного решения, он бежал после сцены, завершение которой видел у Лавальер. Король, Монтале, Луиза, эта комната, это странное стремление избавиться от него, печаль Луизы, испуг Монтале, гнев короля – все предрекало ему несчастье. Но какое?

Он приехал из Лондона, потому что ему сообщили о грозящей опасности, и тотчас же увидел призрак этой опасности. Достаточно ли этого для влюбленного? Да, конечно. Но этого недостаточно для благородного сердца.

Однако Рауль не стал искать объяснений там, где без дальних околичностей ищут их ревнивые или более решительные влюбленные. Он не пошел к госпоже своего сердца и не спросил ее: «Луиза, вы больше меня не любите? Луиза, вы полюбили другого?» Мужественный, способный к самой преданной дружбе, так же как он был способен к самой беззаветной любви, свято соблюдающий свое слово и верящий слову другого, Рауль сказал себе: «Де Гиш написал мне, чтобы предупредить: де Гиш что-то знает; пойду спрошу у де Гиша, что же он знает, и расскажу ему то, что видел собственными глазами».

Путь, который пришлось проделать Раулю, был недолгим. Де Гиш, всего два дня назад перевезенный из Фонтенбло в Париж, поправлялся от раны и уже начал немного передвигаться по комнате.

Увидев Рауля, он вскрикнул от радости – это было обычное для него проявление неистовства в дружбе. Рауль, в свою очередь, вскрикнул от огорчения, увидев де Гиша бледным, худым, опечаленным. Двух слов и жеста, которым раненый отодвинул руку Рауля, было достаточно, чтобы открыть ему истину.

– Вот как, – сказал Рауль, садясь рядом со своим другом, – тут любят и умирают.

– Нет, нет, не умирают, – ответил, улыбаясь, де Гиш, – раз я на ногах и могу обнять вас!

– Ах, я понимаю!

– И я понимаю вас также. Вы убеждены, что я глубоко несчастлив, Рауль?

– Увы!

– Нет! Я счастливейший из людей! Страдает лишь тело, но не сердце и не душа. Если бы вы знали! О, я счастливейший из людей!

- Тем лучше... тем лучше, лишь бы это продолжалось подольше!
- Все решено; у меня хватит любви, Рауль, до конца моих дней.
- У вас – я в этом не сомневаюсь, но у нее...
- Послушайте, друг мой, я люблю ее... потому что... но вы не слушаете меня.
- Простите!
- Вы озабочены?
- Да. И прежде всего вашим здоровьем...
- Нет, не то!
- Милый мой, кому-кому, а уж вам можно было бы меня не расспрашивать.

И он подчеркнул слово «вам» с тем, чтобы открыть своему другу природу недуга и трудность его лечения.

- Вы говорите это, Рауль, основываясь на письме, которое я написал.
- Да, конечно... Давайте поговорим об этом попозже, после того как вы поделитесь со мною своими радостями и горестями.
- Друг мой, я весь, весь в вашем распоряжении, весь ваш, и сейчас же...
- Благодарю вас. Я тороплюсь... я горю... я приехал из Лондона вдвое быстрее, чем государственные курьеры. Чего же вы от меня хотели?
- Но ничего другого, кроме того, чтобы вы приехали.
- Я, как видите, перед вами.
- Значит, все хорошо.
- Мне кажется, у вас есть для меня еще что-то.
- Но мне нечего вам сказать!
- Де Гиш!
- Клянусь честью!
- Вы не для того без стеснения оторвали меня от моих иллюзий; не для того подвергли немилости короля, потому что это возвращение – нарушение его воли; не для того впустили мне в сердце ревность, эту безжалостную змею, чтобы сказать: «Все хорошо, спите спокойно».
- Я не говорю вам: «Спите спокойно», Рауль, но поймите меня хорошенько, я не хочу и не в состоянии сказать вам что-либо большее.
- За кого же вы меня принимаете?
- То есть как?
- Если вы о чем-то осведомлены, почему вы таите от меня то, что знаете? Если ни о чем не осведомлены, то почему вы предупредили меня?
- Это правда, я виноват перед вами. О, я раскаиваюсь, видите, Рауль, я раскаиваюсь. Написать другу «приезжайте» – это ничто. Но видеть этого друга перед собой, чувствовать, как он дрожит, как задыхается в ожидании слова, которого не смеешь сказать ему...
- Посмейте! У меня хватит мужества, если его мало у вас! – в отчаянии воскликнул Рауль.
- Вот до чего вы несправедливы и вот до чего забывчивы! Вы забыли, что имеете дело с обессиленным раненым... Ну, успокойтесь же! Я вам сказал: «Приезжайте!» Вы приехали. Не требуйте же ничего сверх этого у бедняги де Гиша.
- Вы мне посоветовали приехать, надеясь, что я сам увижу и разберусь, не так ли?
- Но...
- Без колебаний! Я видел.
- Ах!
- Или по крайней мере мне показалось...
- Вот видите, вы сомневаетесь. Но если вы сомневаетесь, бедный мой друг, что же остается на мою долю?
- Я видел смущенную Лавальер... испуганную Монтале... короля.
- Короля?

– Да... Вы отворачиваетесь... здесь-то и таится опасность... Зло именно здесь, не так ли? Это король?..

– Я молчу.

– Своим молчанием вы говорите в тысячу и еще тысячу раз больше, чем могли бы сказать словами. Фактов – прошу, умоляю вас – фактов! Мой друг, мой единственный друг, говорите! У меня изранено и кровоточит сердце, я умру от отчаяния!

– Если так, Рауль, вы облегчаете мое положение, и я позволю себе говорить, уверенный, что сообщу только то, что гораздо утешительнее по сравнению с тем отчаянием, в котором я вижу вас.

– Я слушаю, слушаю...

– Ну, – сказал граф де Гиш, – я могу сообщить вам лишь о том, что вы могли бы узнать от первого встречного.

– От первого встречного! Значит, об этом уже болтают! – воскликнул Рауль.

– Прежде чем говорить «об этом болтают», узнайте, о чем, собственно, могут болтать, дорогой мой. Клянусь вам, речь идет о вещах, по существу совершенно невинных, – может быть, о прогулке...

– А! О прогулке с королем?

– Ну да, с королем; мне кажется, что король достаточно часто совершает прогулки с дамами для того, чтобы...

– Повторяю, вы не написали бы мне, если б эта прогулка была заурядна.

– Я знаю, что во время грозы королю было бы, конечно, удобнее укрыться в каком-нибудь доме, чем стоять с непокрытой головой перед Лавальер. Но...

– Но?..

– Но король отличается отменной вежливостью.

– О, де Гиш, де Гиш, вы меня убиваете!

– В таком случае я замолчу.

– Нет, продолжайте. За этой прогулкой последовали другие?

– Нет... то есть да; было еще приключение у дуба. Впрочем, я ровно ничего не знаю о нем.

Рауль встал. Де Гиш, несмотря на свою слабость, тоже постарался подняться на ноги.

– Послушайте меня, – заговорил он, – я не добавлю больше ни слова; я сказал слишком много или, может быть, слишком мало. Другие осведомят вас, если захотят или смогут. Я должен был предупредить вас о том, что вам необходимо вернуться; я это сделал. Теперь уж сами заботьтесь о ваших делах.

– Что же мне делать? Расспрашивать? Увы, вы мне больше не друг, раз вы подобным образом разговариваете со мной, – произнес сокрушенно юноша. – Первый, кого я примусь расспрашивать, окажется или клеветником, или глупцом – клеветник солжет, чтобы помучить меня, глупец натворит что-нибудь еще худшее. Ах, де Гиш, де Гиш, и двух часов не пройдет, как я обзову десятерых придворных лжецами и затею десять дуэлей! Спасите меня! Разве не самое лучшее – знать свой недуг?

– Но я ничего не знаю, поверьте. Я был ранен, болел, лежал без памяти, у меня обо всем лишь туманное представление. Но, черт возьми! Мы ищем не там, где нужно, когда подходящий человек рядом с нами. Друг ли вам шевалье д'Артаньян?

– О да! Конечно!

– Пойдите к нему. Он вам откроет истинное положение дел и не станет умышленно терзать ваше сердце.

В это время вошел лакей.

– В чем дело? – спросил де Гиш.

– Господина графа ожидают в фарфоровом кабинете.

– Хорошо. Вы позволите, милый Рауль? С тех пор как я начал ходить, я преисполнен гордости.

– Я предложил бы вам опереться на мою руку, если б не думал, что тут замешана женщина.

– Кажется, да, – сказал, улыбаясь, де Гиш и оставил Рауля.

Рауль застыл в неподвижности, оцепеневший, раздавленный, как рудокоп, на которого обрушился свод галереи: он ранен, он истекает кровью, мысли его спутаны, но он силится прийти в себя и спасти свою жизнь с помощью разума. Несколько минут было Раулю достаточно, чтобы справиться с потрясением, вызванным этими двумя сообщениями де Гиша. Он успел уже связать нить своих мыслей, как вдруг за дверь в фарфоровом кабинете он услышал голос, который показался ему голосом Монтале.

«Она! – воскликнул он про себя. – Ее голос, конечно. Вот женщина, которая могла бы открыть мне правду; но стоит ли расспрашивать ее здесь? Она таится от всех, даже от меня; она, наверное, пришла от принцессы... Я повидуюсь с ней в ее комнате. Она объяснит свой испуг, и свое бегство, и неловкость, с которой избавилась от меня; она расскажет мне обо всем... после того как господин д'Артаньян, который все знает, укрепит мое сердце. Принцессы... кокетка... Ну да, кокетка, но иногда и она способна любить; кокетка, у которой, как у жизни или у смерти, есть свои прихоти и причуды, но она дала де Гишу почувствовать себя счастливейшим из людей. Он-то по крайней мере на ложе из роз. Вперед!»

Он покинул графа и, упрекая себя всю дорогу за то, что говорил с де Гишем лишь о себе, пришел к д'Артаньяну.

## XI. Бражелон продолжает расспрашивать

Капитан находился при исполнении служебных обязанностей: он дежурил. Сидя в глубоком кожаном кресле, воткнув шпоры в паркет, со шпагою между ног, он читал, покручивая усы, письма, лежавшие перед ним целою грудой.

Заметив сына своего старинного друга, д'Артаньян пробурчал что-то радостное.

– Рауль, милый мой, по какому случаю король вызвал тебя?

Эти слова неприятно поразили слух юноши, и он ответил, усаживаясь на стул:

– Право, ничего об этом не знаю. Знаю лишь то, что я возвратился.

– Гм! – пробормотал д'Артаньян, складывая письма и окидывая пронизывающим взглядом своего собеседника. – Что ты там толкуешь, мой милый? Что король тебя вовсе не вызывал, а ты все же вернулся? Я тут чего-то не понимаю.

Рауль был бледен и со стесненным видом вертел в руках шляпу.

– Какого черта ты строишь такую кислую физиономию и что за могильный тон? – сказал капитан. – Это что же, в Англии приобретают такие повадки? Черт подери! И я побывал в Англии, но возвратился оттуда веселый, как зяблик. Будешь ли ты говорить?

– Мне надо сказать слишком много.

– Ах вот как! Как поживает отец?

– Дорогой друг, извините меня. Я только что хотел спросить вас о том же.

Взгляд д'Артаньяна, проникавший в любые тайны, стал еще более острым. Он спросил:

– У тебя неприятности?

– Полагаю, что вы об этом отлично осведомлены, господин д'Артаньян.

– Я?

– Несомненно. Не притворяйтесь же, что вы удивлены этим.

– Я несколько не притворяюсь, друг мой.

– Дорогой капитан, я очень хорошо знаю, что ни в уловках, ни в силе я не могу состязаться с вами, и вы меня с легкостью одолеете. Видите ли, сейчас я непроходимо глуп, я жалкая, ничтожная тварь. Я лишился ума, и руки мои висят, как плети. Так не презирайте же меня и окажите мне помощь! Я несчастнейший среди смертных.

– Это еще почему? – спросил д'Артаньян, расстегивая пояс и смягчая выражение лица.

– Потому, что мадемуазель де Лавальер обманывает меня. Лицо д'Артаньяна не изменилось.

– Обманывает! Обманывает! И слова-то какие важные! Кто тебе про это сказал?

– Все.

– А-а, если все говорят тебе про это, значит, тут есть доля истины. Что до меня, то я верю, что где-то есть пламя, раз я увидел дым. Это смешно, но тем не менее это так.

– Значит, вы верите! – вскричал Бражелон.

– Если ты со мной делишься...

– Разумеется.

– Я не вмешиваюсь в дела подобного рода, и ты это хорошо знаешь.

– Как! Даже для друга? Для сына?

– Вот именно. Если б ты был чужим, посторонним, я сказал бы тебе... я бы ничего тебе не сказал... Не знаешь ли, как поживает Портос?

– Сударь! – воскликнул Рауль, сжимая руку д'Артаньяну. – Во имя дружбы, которую вы обещали моему отцу!

– Ах черт! Я вижу, что ты серьезно заболел... любопытством.

– Это не любопытство, это любовь.

– Поди ты! Вот еще важное слово. Если б ты был влюблен по-настоящему, мой милый Рауль, это выглядело бы совсем по-иному.

– Что вы имеете в виду?

– Я хочу сказать, что, если бы ты был охвачен настоящей любовью, я мог бы предполагать, что обращаюсь к твоему сердцу и ни к кому больше... Но это немыслимо.

– Поверьте же мне, я безумно люблю Луизу.

Д'Артаньян заглянул в самую глубину души Рауля.

– Немыслимо, повторяю тебе... Ты такой же, как все твои сверстники; ты не влюблен, ты безумствуешь.

– Ну а если бы это было не так?

– Разумный человек никогда еще не мог повлиять на безумца, у которого голова идет кругом. За свою жизнь я раз сто обжигался на этом. Ты бы слушал меня, но не слышал; ты бы слышал меня, но не понял; ты бы понял меня, но не последовал моему совету.

– Но попробуйте все же, прошу вас, попробуйте!

– Скажу больше: если бы я имел несчастье и впрямь что-то знать и был бы настолько нечуток, чтобы поделиться с тобой тем, что знаю... Ведь ты говоришь, что считаешь себя моим другом?

– О да!

– Ну, так я бы с тобою рассорился. Ты бы никогда не простил мне, что я разрушил твою иллюзию, как говорятся, в любовных делах.

– Господин д'Артаньян, вы знаете решительно все и оставляете меня в замешательстве, в полном отчаянии, в агонии! Это ужасно!

– Та, та, та!

– Вам известно, что я никогда ни на что не жалею. Но так как бог и мой отец никогда не простили бы мне, если б я пустил себе пулю в лоб, то я сейчас же уйду от вас и заставлю первого встречного рассказать мне то, чего вы не желаете сообщить; я обвиню его в том, что он лжет...

– И убьешь его? Вот это чудесно! Пожалуйста! Мне-то что за дело до этого? Убивай, мой милый, убивай, если это может доставить тебе удовольствие. Поступи, как те, у кого болят зубы. Они говорят, обращаясь ко мне: «О, как я страдаю! Я готов был бы грызть от боли железо». На это я отвечаю им: «Ну и грызите, друзья, грызите! Вы и впрямь, пожалуй, избавитесь от гнилого зуба».

– Нет, я не стану никого убивать, сударь, – сказал Рауль с мрачным видом.

– Ну да, вот вы, нынешние, обожают подобные позы. Вы дадите себя убить, не так ли? До чего ж это мило! Ты думаешь, я о тебе пожалею? О нет, я без конца буду повторять в течение целого дня: «Что за ничтожная дрянь этот сосунок Бражелон, что за глупец! Всю свою жизнь я потратил на то, чтоб научить его как следует держать шпагу, а этот дурень дал себя проткнуть, как цыпленка». Идите, Рауль, идите, дайте себя убить, друг мой. Не знаю, кто обучал вас логике, но прокляни меня бог, как говорят англичане, если этот субъект не зря получал от вашего отца деньги.

Рауль молча закрыл руками лицо и прошептал:

– Нет на свете друзей, нет, нет!

– Вот как! – сказал д'Артаньян.

– Есть только насмешники и равнодушные.

– Вздор! Я не насмешник, хоть и чистокровный гасконец. И не равнодушный. Да если б я был равнодушным, я послал бы вас к черту уже четверть часа тому назад, потому что человека, обезумевшего от радости, вы превратили бы в печального, а печального умили бы насмерть. Неужели же, молодой человек, вы хотите, чтобы я внушил вам отвращение к вашей милой и научил вас проклинать женщин, тогда как они честь и счастье человеческой жизни?

– Сударь, сообщите мне все, что вы знаете, и я буду благословлять вас до конца моих дней!

– Ну, мой милый, неужто вы воображаете, что я набивал себе голову всеми этими историями о столяре, о художнике, о лестнице и портрете и еще сотней тысяч таких же басен. Да я ошалел бы от этого!

– Столяр! При чем тут столяр?

– Право, не знаю. Но мне рассказывали, что какой-то столяр продырявил какой-то паркет.

– У Лавальер?

– Вот уж не знаю где.

– У короля?

– Если б это было у короля, то я так и пошел бы докладывать вам об этом, верно?

– Но все-таки у кого же?

– Уже битый час я повторяю вам, что решительно ни о чем не осведомлен.

– Но художник! И этот портрет?..

– Говорят, что король заказал портрет одной из придворных дам.

– Лавальер?

– Э, да у тебя на устах это имя и ничего больше! Кто ж тебе говорит, что это был портрет Лавальер?

– Но если речь идет не о ней, то почему вы предполагаете, что это может представлять для меня интерес?

– Я и не хочу, чтобы это представляло для тебя интерес. Ты спрашиваешь – я отвечаю. Ты хочешь знать скандальную хронику, я тебе выкладываю ее. Извлеки из нее все, что сможешь.

Рауль в отчаянии схватился за голову:

– Можно от всего этого умереть!

– Ты уже говорил об этом.

– Да, вы правы.

И он сделал шаг с намерением удалиться.

– Куда ты? – спросил д'Артаньян.

– К тому лицу, которое скажет мне правду.

– Кто это?

– Женщина.

– Мадемуазель де Лавальер собственной персоной, не так ли? – усмехнулся д'Артаньян. – Чудесная мысль! Ты жаждешь обрести утешение – ты обретешь его тотчас же. О себе она дурного не скажет, иди!

– Вы ошибаетесь, сударь, – ответил Рауль, – женщина, к которой я хочу обратиться, скажет о ней много дурного.

– Держу пари, ты собираешься к Монтале!

– Да, к Монтале.

– Ах, приятельница? Женщина, которая по этой самой причине будет сильно преувеличивать в ту или другую сторону. Не говорите с Монтале, мой милый Рауль.

– Не разум вас наставляет, когда вы стремитесь не допустить меня к Монтале.

– Да, сознаюсь, это так... И в сущности говоря, к чему мне играть с тобой, как кошка играет с бедною мышью? Ты, право, беспокоишь меня. И если я сейчас не хочу, чтобы ты говорил с Монтале, то лишь потому, что ты разгласишь свою тайну и этой тайной воспользуются. Подожди, если можешь.

– Не могу.

– Тем хуже! Видишь ли, Рауль, если б меня осенила какая-нибудь счастливая мысль... Но она не осеняет меня.

– Позвольте мне, друг мой, лишь делиться с вами своими печальями и предоставьте мне самостоятельно выпутываться из этой истории.

– Ах так! Дать тебе увязнуть в ней окончательно, вот ты чего захотел? Садись к столу и возьми в руку перо.

– Зачем?

– Чтобы написать Монтале и попросить у нее свидания.

– Ах! – воскликнул Рауль, хватая перо.

Вдруг отворилась дверь, и мушкетер, подойдя к д'Арта-ньяну, произнес:

– Господин капитан, здесь мадемуазель де Монтале, которая желает переговорить с вами.

– Со мной? – пробормотал д'Артаньян. – Пусть войдет, и я сразу увижу, со мной ли хотела она говорить.

Хитрый капитан угадал. Монтале, войдя и увидев Рауля, вскрикнула:

– Сударь, сударь, вы тут! Простите, господин д'Артаньян.

– Охотно прощаю, сударыня, – сказал д'Артаньян, – я знаю, я в таком возрасте, что меня разыскивают только тогда, когда уж очень во мне нуждаются.

– Я искала господина де Бражелона, – ответила Монтале.

– Как это удачно совпало! Я вас также хотел повидать.

– Рауль, не желаете ли выйти с мадемуазель Монтале?

– Всем сердцем!

– Идите!

И он тихонько вывел Рауля из кабинета; затем, взяв Монтале за руку, прошептал:

– Будьте доброй девушкой. Пощадите его, пощадите ее.

– Ах, – ответила она так же тихо, – не я буду с ним разговаривать. За ним послала принцесса.

– Вот как, принцесса! – вскричал д'Артаньян. – Не пройдет и часа, как бедняжка поправится.

– Или умрет, – сказала Монтале с состраданием. – Прощайте, господин д'Артаньян!

И она побежала вслед за Раулем, который ожидал ее, стоя поодаль от дверей, встревоженный и озадаченный этим диалогом, не предвещавшим ему ничего хорошего.

## ХII. Две ревности

Влюбленные нежны со всеми, кто имеет отношение к их любимым. Как только Рауль остался наедине с Монтале, он с пылом поцеловал ее руку.

– Так, так, – грустно начала девушка. – Вы плохо помещаете капитал своих поцелуев, дорогой господин Рауль, гарантирую, что они не принесут вам процентов.

– Как?.. Что?.. Объясните мне, милая Ора...

– Вам все объяснит принцесса. К ней-то я вас и веду.

– Что это значит?

– Тише... и не бросайте на меня таких испуганных взглядов. Тут окна имеют глаза, а стены – длинные уши. Будьте любезны больше не смотреть на меня; будьте любезны очень громко говорить со мной о дожде, о прекрасной погоде и о том, какие развлечения в Англии.

– Наконец...

– Ведь я предупредила вас, что где-нибудь, я не знаю где, но где-нибудь у принцессы обязательно спрятано наблюдающее за нами око и подслушивающее нас ухо. Поймите, что мне вовсе не хочется быть выгнанной вон или попасть в тюрьму. Давайте говорить о погоде, повторяю еще раз, или лучше уж помолчим.

Рауль сжал кулаки и пошел быстрее. Он придал себе вид безгранично храброго человека – это верно, но то был храбрец, идущий на казнь. Монтале, легкая и настороженная, шла впереди него.

Рауля сразу же ввели в кабинет принцессы.

«Пройдет целый день, и я ничего не узнаю, – подумал Рауль. – Де Гиш пожалел меня, он сговорился с принцессой, и оба они, составив дружеский заговор, отдалают решение этого большого вопроса. Ах, почему я не сталкиваюсь тут с откровенным врагом, например, с этой змеею Вардом? Он, конечно, не преминул бы ужалить... но зато я бы не знал колебаний. Сомневаться... раздумывать... нет, уж лучше смерть!»

Рауль предстал перед принцессой.

Генриетта, которая была еще очаровательнее, чем всегда, полулежала в кресле; она положила свои прелестные ножки на бархатную вышитую подушку и играла с длинношерстным пушистым котенком, который покусывал ее пальцы и цеплялся за кружево, ниспадавшее с ее шеи. Принцесса была погружена в размышления. Только голоса Монтале и Рауля вывели ее из задумчивости.

– Ваше высочество посылали за мной? – повторил Рауль.

Принцесса тряхнула головой, как если б она только проснулась.

– Здравствуйтесь, господин де Бражелон, – сказала она, – да, я посылала за вами. Итак, вы вернулись из Англии?

– К услугам вашего высочества.

– Благодарю вас. Оставьте нас, Монтале.

Монтале вышла.

– Вы можете уделить мне несколько минут, не так ли, господин де Бражелон?

– Вся моя жизнь принадлежит вашему высочеству, – почтительно ответил Рауль, который под всеми любезностями принцессы предугадывал нечто мрачное. Но мрачность эта скорее была ему по душе, так как он был убежден, что чувства принцессы имеют нечто общее с его чувствами. И в самом деле, все умные люди при королевском дворе знали про капризный характер и взбалмошный деспотизм, свойственные принцессе.

Принцесса была свыше меры польщена вниманием короля; принцесса заставила говорить о себе и внушила королеве ту смертельную ревность, которая, как червь, разъедает всякое

женское счастье, – словом, принцесса, желая исцелить оскорбленную гордость, воображала, что ее сердце сжимается от любви.

Мы с вами хорошо знаем, как поступила принцесса, чтобы вернуть Рауля, удаленного королем. Рауль, однако, не знал о ее письме к Карлу II; лишь один д'Артаньян догадался о нем.

Это необъяснимое сочетание любви и тщеславия, эту ни с чем не сравнимую нежность, это невиданное коварство – кто сможет их объяснить? Никто, даже демон, разжигающий в сердцах женщин кокетство. Помолчав еще некоторое время, принцесса наконец сказала:

– Господин де Бражелон, вы вернулись довольный?

Бражелон посмотрел на принцессу и увидел, что ее лицо покрывается бледностью; ее мучила тайна, которую она хранила в себе и которую страстно хотела открыть.

– Довольный? – переспросил Рауль. – Чем же я могу быть доволен или недоволен, ваше высочество?

– Но чем может быть доволен или недоволен человек вашего возраста и вашей наружности?

«Как ей не терпится! – подумал, ужаснувшись, Рауль. – Что-то вложит она в мое сердце?»

Затем, в страхе перед тем, что ему предстояло узнать, и желая отдалить столь вожделенный и вместе с тем столь ужасный момент, он ответил:

– Ваше высочество, я оставил дорогого мне друга в добром здоровье, а вернувшись, увидел его больным.

– Вы говорите о господине де Гише? – спросила принцесса с невозмутимым спокойствием. – Передают, что вы с ним очень дружны.

– Да, ваше высочество.

– Ну что ж, это верно, он был ранен, но теперь поправляется. О! Господина де Гиша жалеть не приходится, – добавила она быстро. Потом, как бы спохватившись, продолжала: – Разве его нужно жалеть? Разве он жалуется? Разве у него есть печали, которые не были б нам известны?

– Я говорю о его ране, ваше высочество, и ни о чем больше.

– Тогда ничего страшного, потому что во всем остальном господин де Гиш, как кажется, очень счастлив: он неизменно в радужном настроении. Знаете ли, господин де Бражелон, я уверена, что вы предпочли бы, чтобы вам нанесли телесную рану, как ему... Что такое телесная рана?

Рауль вздрогнул; он подумал: «Она приступает к главному. Горе мне!» Он ничего не ответил.

– Что вы сказали? – спросила она.

– Ничего, ваше высочество.

– Ничего не сказали? Значит, вы не одобряете моих слов или, быть может, вы удовлетворены создавшимся положением?

Рауль подошел поближе к принцессе:

– Вашему высочеству угодно мне кое о чем рассказать, но естественное великодушие заставляет ваше высочество взвешивать свои слова. Я прошу ваше высочество ничего не утаивать. Я ощущаю в себе достаточно сил, я слушаю.

– На что вы, собственно, намекаете?

– На то, о чем ваше высочество хочет поставить меня в известность.

И, произнося эти слова, Рауль не смог удержаться от содрогания.

– Да, – прошептала принцесса, – это жестоко, но если я начала...

– Да, раз вы снизили к тому, чтобы начать, ваше высочество, снизойдите и к тому, чтобы кончить.

Генриетта поспешно встала и нервно прошлась по комнате.

– Что вам сказал де Гиш? – внезапно спросила она.

– Ничего.

– Ничего? Он ничего не сказал? О, как я узнаю его в этом!

– Он, несомненно, хотел пощадить меня.

– И вот это называется дружбой! Но господин д'Артаньян, от которого вы только что вышли, что рассказал господин д'Артаньян?

– Не более, чем де Гиш.

Генриетта сделала нетерпеливое движение:

– Вам-то по крайней мере известно, о чем говорит весь двор?

– Мне ровно ничего не известно, ваше высочество.

– Ни сцена во время грозы?

– Ни сцена во время грозы...

– Ни встреча наедине в лесу?

– Ни встреча в лесу...

– Ни бегство в Шайо?

Рауль, клонившийся, как цветок, задетый серпом, сделал сверхчеловеческое усилие, чтоб улыбнуться, и ответил с трогательной простотой:

– Я имел честь сообщить вам, ваше высочество, что я решительно ничего не знаю. Я бедный, забытый всеми изгнанник, только что прибывший из Англии; между теми, кто здесь, и мною простиралось бурное море, и молва обо всем, о чем вы упомянули, не могла достигнуть моего слуха.

Генриетта была тронута бледностью, кротостью и мужеством юноши. Но преобладающим желанием ее сердца в это мгновение была жажда услышать от обманутого влюбленного, что он по-прежнему помнит о той, которая причинила ему столько страданий.

– Господин де Бражелон, – произнесла она, – то, что ваши друзья не пожелали сделать для вас, из уважения и любви к вам, сделаю я. Это я буду вашим истинным другом. Вы высоко держите голову, как истинно порядочный человек, и я не хочу, чтобы вы опустили ее под градом насмешек, – через неделю я должна буду сказать это, – перед всеобщим презрением.

– Ах! – прошептал смертельно побледневший Рауль. – Неужели дошло до этого?

– Если вы не осведомлены об этом, – продолжала принцесса, – я вижу, что вы все же догадываетесь. Вы были женихом мадемуазель де Лавальер?

– Да, ваше высочество.

– Поскольку вы жених Лавальер, я обязана предупредить вас: на днях я выгоню ее вон...

– Выгоните ее! – вскричал Бражелон.

– Без сомнения; неужели вы думаете, что я буду вечно считаться со слезами и просьбами короля? Нет, нет, мой дом недолго будет служить для вещей подобного рода. Но вы едва держитесь на ногах...

– Нет, простите, ваше высочество, – начал Рауль, сделав над собою усилие, – мне показалось, что я умираю. Ваше высочество почтили меня сообщением, что король плакал, просил...

– Да, но напрасно.

И она рассказала Раулю о сцене в Шайо, об отчаянии короля по возвращении во дворец; она рассказала о своей снисходительности и об ужасной фразе, при помощи которой разгневанная принцесса, униженная кокетка, поборола гнев короля.

Рауль опустил голову.

– Что вы думаете об этом? – спросила она.

– Король любит ее, – ответил Рауль.

– Но вы как будто хотите сказать, что она не любит его.

– Увы, я все еще думаю о том времени, когда она любила меня, ваше высочество!

Генриетта на мгновение восхитилась этим возвышенным недоверием; затем, пожав плечами, она заговорила:

– Вы мне не верите? О, как же вы ее любите! И вы сомневаетесь, что она отдала свою любовь королю?

– Пока я не получу доказательств. Простите меня, она дала мне слово, а она – благородная девушка.

– Доказательств?.. Ну что ж, пойдемте.

### ХIII. Обыск

Принцесса повела Рауля через двор к тому крылу здания, где жила Лавальер, поднялась по лестнице, по которой этим утром он уже поднимался, и остановилась у двери, где молодой человек встретил столь странный прием со стороны Монтале.

Момент был выбран удачно; ничто не мешало принцессе приступить к исполнению ее плана; замок был пуст; король, придворные кавалеры и дамы уехали в Сен-Жермен; не поехала вместе со всеми лишь одна Генриетта, узнавшая о возвращении Бражелона и придумавшая, как использовать его возвращение; сославшись на нездоровье, она осталась у себя.

Итак, принцесса была уверена, что ни в комнате Лавальер, ни в апартаментах Сент-Эньяна она никого не застанет. Она вынула из кармана ключ и открыла дверь, ведущую в комнату ее фрейлины.

Взгляд Бражелона обежал эту комнату, которую он сразу узнал, и вид ее заставил его сердце содрогнуться; но это было только началом мучений, которые его тут ожидали.

Принцесса внимательно посмотрела ему в глаза, и ее опытный взгляд проник в сердце юноши: она поняла, что в нем происходит.

– Вы просили у меня доказательств, – сказала она, – не удивляйтесь же, если я доставлю их вам. Впрочем, если вы не чувствуете в себе достаточно сил, еще не поздно, и мы можем удалиться.

– Благодарю вас, ваше высочество, но я пришел сюда, чтобы все узнать. Вы обещали убедить меня, убеждайте.

– Тогда войдите и закройте за собой дверь.

Бражелон повиновался и, повернувшись к принцессе, вопросительно посмотрел на нее.

– Известно ли вам, где вы находитесь? – спросила принцесса.

– Судя по всему, ваше высочество, я нахожусь в комнате мадемуазель Лавальер.

– Да.

– Но я позволю себе заметить, что комната – вовсе не доказательство.

– Погодите.

Принцесса прошла к кровати, сдвинула ширму и, наклонившись над паркетом, попросила:

– Нагнитесь и поднимите крышку этого люка.

– Люка! – повторил пораженный Рауль. Ему смутно припомнились слова д'Артаньяна: ведь и д'Артаньян как будто произнес это слово.

И Рауль стал искать глазами щель или прорезь, которые указали бы на отверстие, проделанное в полу, или кольцо, с помощью которого можно было бы поднять крышку над ним, но поиски его оказались тщетными.

– Ах, и в самом деле, – засмеялась Генриетта, – я забыла о скрытом механизме: четвертый листок на рисунке паркета. Нужно нажать в том месте, где на доске сучок. Следуйте этому указанию. Нажмите, виконт, вот здесь, нажимайте же!

Рауль, бледный как смерть, нажал пальцем на указанное ему принцессою место, в ту же секунду механизм пришел в движение, и кусок паркета поднялся.

– Это очень хитро, – сказала принцесса, – и архитектор, очевидно, предвидел, что пользоваться этим устройством придется маленькой ручке: смотрите, насколько легко открывается люк.

– Лестница! – воскликнул Рауль.

– Да, и даже очень изящная, – заметила Генриетта. – Посмотрите, виконт, у этой лестницы есть и перила, дабы воздушные создания, отваживающиеся спускаться по ней, не могли случайно свалиться; вот и я решаюсь спуститься. Следуйте за мною, виконт, следуйте.

– Но прежде чем пойти за вами, я хотел бы выяснить, куда ведет лестница.

– А, правда, я забыла сказать вам про это.

– Слушаю вас, ваше высочество, – едва дыша, произнес Рауль.

– Вам, быть может, известно, что граф де Сент-Эньян до недавнего времени жил рядом с покоями короля.

– Да, ваше высочество, мне это известно; до своего отъезда – и не раз – я имел честь посещать графа на его старой квартире.

– Так вот, король разрешил ему сменить его очень удобную и красиво отделанную квартиру, в которой вы были, на две небольшие комнаты, куда и ведет эта лестница. Комнаты вдвое меньше его прежней квартиры и в десять раз дальше от апартаментов короля, соседством с которым обыкновенно отнюдь не пренебрегают господа придворные кавалеры.

– Очень хорошо, ваше высочество, но продолжайте, прошу вас, так как я все еще ничего не понял.

– Вот и оказалось, конечно, совершенно случайно, что новые комнаты графа де Сент-Эньяна расположены под комнатами моих фрейлин, и в частности под комнатой Лавальер.

– Но к чему все-таки люк и лестница?

– Право, не знаю. Не хотите ли пройти вместе со мной к Сент-Эньяну? Быть может, там мы отыщем разгадку.

И принцесса, подавая пример, начала первая спускаться по лестнице. Рауль со вздохом пошел вслед за нею.

Каждая ступень, поскрипывавшая под ногами виконта де Бражелона, приближала его к таинственному приюту, в котором продолжал еще раздаваться голос мадемуазель Лавальер и сохранился сладчайший запах, исходивший от ее платья. Судорожно вдыхая воздух, Рауль сразу понял, что эта юная девушка, несомненно, проходила по лестнице.

Затем, после доказательств невидимых, пред ним оказались любимые ею цветы, книги, которые она отобрала. Если бы у Рауля оставалась хотя бы ничтожная доля сомнения, она бы исчезла при виде этой непостижимой гармонии ее вкусов и склонностей с находившимися здесь предметами повседневного обихода. Лавальер незримо присутствовала в убранстве, в тканях, даже в отблесках на шашках паркета.

Немой и раздавленный, он понял и постиг все до конца и следовал за своей безжалостной провожатой, как обреченный на смерть следует за палачом. Принцесса, жестокая, как всякая утонченная и нервная женщина, не щадила его и не скрыла ни единой подробности. Впрочем, надо сказать, что, несмотря на апатию, которая охватила его, ни одна из этих подробностей не ускользнула бы от Рауля, даже если б он находился здесь наедине с самим собою. Счастье любимой женщины, когда это счастье подарено ей соперником, – пытка для того, кто ревнив. Но для такого ревнивца, каким был Рауль, для этого сердца, которое впервые впитывало в себя яд желчи, счастье Луизы означало бесславную смерть, смерть и души и тела.

Пред его взором проносилось решительно все: сплетенные в объятиях руки, сближающиеся лица, губы, слитые в страстном порыве перед зеркалом, эта столь сладостная клятва влюбленных, жадно рассматривающих свое отражение, дабы крепче запечатлеть в памяти пленительную картину.

В своих мыслях он видел лобзания, скрытые непроницаемым пологом, который, колеблясь, выдавал объятия упоенных любовников, и красноречие ложа, таящегося в создаваемой этим пологом полутьме, причиняло ему жгучие муки.

Эта роскошь, эта изысканность, полная опьянения, это заботливое старание оградить возлюбленную от всякого неудовольствия или подарить ей прелестную неожиданность, это могущество всемогущей любви, умноженное королевским могуществом, поразили Рауля смертельным ударом. О, если есть смягчение жгучих мук ревности, то его дает лишь сознание превосходства над человеком, которого вам предпочли. И напротив, если есть ад в аду, пытка,

не имеющая названия на человеческом языке, то это – всемогущество бога, предоставленное сопернику вместе с юностью, красотой, обаянием. В такое мгновение кажется, что сам бог ополчился на покинутого любовника.

Несчастливого Рауля ожидал последний удар: принцесса Генриетта подняла шелковый занавес, и за ним он увидел портрет Лавальер. Это был не портрет, перед ним стояла сама Лавальер, юная, прекрасная, радостная, всеми порами впитывающая в себя жизнь, ибо для тех, кому восемнадцать лет, жизнь – это любовь.

– Луиза! Луиза! – прошептал Бражелон. – Итак, это правда? О, ты никогда не любила меня, ведь на меня ты так никогда не смотрела!

И ему показалось, что сердце сжалось в его груди.

Принцесса Генриетта разглядывала его и, наблюдая его страдания, испытывала странную зависть к Лавальер, хотя знала, что завидовать ей, в сущности, нечему и что де Гиш любит ее столь же пылко, как Бражелон любит свою Луизу. Рауль перехватил на себе взгляд принцессы и произнес:

– О, простите меня, простите! Я знаю, мне следовало бы лучше владеть собою в вашем присутствии. Но не дай боже, господин земли и неба, чтобы на вас когда-нибудь обрушился такой же удар, какой в этот день поразил меня. Ибо вы женщина и, конечно, не смогли бы снести этих мук. Простите меня, я бедный дворянин и ничего больше, тогда как вы, вы принадлежите к числу тех счастливых, тех всемогущих, тех избранных...

– Господин де Бражелон, – ответила Генриетта, – сердце, подобное вашему, заслуживает забот и внимания самой королевы. Я ваш друг, виконт; поэтому я не хотела, чтобы вся ваша жизнь была отравлена вероломством и измарана беспощадной насмешкой. Я храбрее ваших друзей (я не говорю о графе де Гише); это я вызвала вас из Лондона; я доставила вам доказательства, бесспорно мучительные, но нужные, которые принесут вам исцеление, если вы умеете любить, как подобает мужчине, а ведь вы мужчина, а не вечно хнычущий Амадис. Не благодарите меня; лучше жалуйтесь на вашу судьбу и служите королю не хуже, чем прежде.

Рауль горестно усмехнулся.

– Да, это правда, я забыл, что король – мой господин.

– Дело идет о вашей свободе! О вашей жизни!

Ясный и прямой взгляд Рауля показал Генриетте, что она заблуждается и что последний из ее доводов – не из тех, которые способны воздействовать на виконта.

– Будьте осторожны, господин Бражелон, – сказала она, – не взвешивая всех ваших поступков, вы навлечете на себя гнев государя, который не умеет подчинять себя в таких случаях велениям разума; вы повергнете в печаль ваших друзей и вашу семью. Покоритесь, смиритесь, исцелите себя.

– Благодарю вас, ваше высочество, я ценю совет, который вы мне подаете, и постараюсь ему последовать. Но мне нужны еще несколько слов, прошу вас.

– Говорите.

– Будет ли нескромно спросить у вас, каким образом тайны этой лестницы, этого люка, наконец, тайна портрета стали известны вам?

– О, нет ничего проще: чтобы наблюдать за поведением своих фрейлин, я держу у себя вторые ключи от их комнат. Мне показалось странным, что Лавальер так часто запирается у себя, мне показалось странным, что граф де Сент-Эньян переменил квартиру; мне показалось странным, что король – ежедневный гость Сент-Эньяна, хотя он и прежде был с ним в тесной дружбе; наконец, мне показалось странным, что все эти вещи произошли после вашего отъезда отсюда и что многие привычки двора вдруг нарушились. Я не хочу быть игрушкой в руках короля, не хочу служить ширмой его любовным делам; ведь после Лавальер, которая не упустит случая поплакать, придет очередь Монтале, всегда готовой посмеяться, или Тонне-Шарант, которая вечно поет. Мне не пристало играть подобную роль. Я пренебрегла щепетильностью

дружбы и открыла секрет... Я нанесла вам рану, простите меня, еще раз прошу вас об этом, но я должна была исполнить свой долг. Теперь дело сделано, вы предупреждены обо всем. Гром не замедлит грянуть, остерегайтесь!

– Все же вы чего-то недоговариваете, ваше высочество, – твердо сказал Бражелон. – Ведь не думаете же вы, что я безмолвно снесу позор и измену?

– Поступайте так, как сочтете необходимым, господин Рауль. Но только не открывайте источника, из которого вы почерпнули правду; вот все, чего я хочу от вас, вот вознаграждение, которое я требую за оказанную услугу.

– Вам нечего опасаться, ваше высочество, – произнес с горькой усмешкой Бражелон.

– Я подкупила столяра, которого любовники использовали в своих интересах. Ведь вы могли сделать то же?

– Да, принцесса. Итак, ваше высочество не даете мне никакого совета и не требуете от меня ничего, кроме обязательства не компрометировать ваше высочество?

– Ничего, кроме этого.

– В таком случае я буду просить ваше высочество разрешить мне задержаться здесь еще на минуту.

– Без меня?

– О нет, это не важно. То, что мне предстоит сделать, я могу сделать и в вашем присутствии. Я прошу вас об этой минуте, чтобы написать кое-кому несколько слов.

– Это опасно, виконт. Берегитесь!

– Никто не узнает, что ваше высочество оказали мне честь, проводив меня в это место. Впрочем, я подписываю свое письмо.

Произнеся эти слова, Рауль вынул свою записную книжку и, вырвав листок, быстро написал следующее:

*«Граф!*

*Не удивляйтесь, найдя здесь эту подписанную мною записку до того, как один из моих друзей, которого я вскоре пришло, будет иметь честь объяснить вам причину моего визита.*

*Виконт Рауль де Бражелон».*

Он свернул этот листок и сунул его в замочную скважину двери, ведущей в комнату обоих любовников. Убедившись, что письмо было хорошо видно и Сент-Эньян, возвращаясь домой, не сможет не заметить его, он пошел за принцессой, которая уже успела подняться по лестнице.

На площадке они расстались. Рауль сделал вид, что бесконечно благодарен ее высочеству. Генриетта искренне или притворно еще раз посочувствовала несчастному, которого она только что обрекла на такие ужасные муки.

– О, – прошептала она, видя, как он удаляется, бледный, с налитыми кровью глазами, – о, если б я знала, я скрыла бы истину от этого бедного юноши!

## XIV. Метод Портоса

Изобилие действующих лиц, которых мы ввели в эту длинную повесть, приводит к тому, что каждый из них вынужден появляться только тогда, когда подойдет его очередь, и в зависимости от хода рассказа. Вот почему читатели не имели случая встретиться с нашим давнишним другом Портосом со времени его возвращения из Фонтенбло.

Почести, оказанные ему королем, не изменили спокойного и добродушного характера достойного дворянина; он всего лишь держал теперь голову чуточку выше, чем прежде, и с тех пор как ему была оказана честь отобедать за королевским столом, в манерах его стало проскальзывать нечто величественное.

Обеденная зала его величества короля произвела на Портоса неизгладимое впечатление. Владелец Брасье и Пьерфона любил вспоминать, что во время этого достопамятного обеда целая толпа слуг и большое количество офицеров, находясь позади приглашенных, придавали обеду чрезвычайно торжественный вид и заполняли собою залу.

Портос решил наградить Мушкетона каким-нибудь соответствующим его положению званием, установить иерархию среди остальных слуг и устроить у себя своего рода маленький двор; этому не были чужды крупные полководцы, и в минувшем веке подобную роскошь позволяли себе господа де Тревиль, де Шомберг, де Ла Вьевиль, не говоря уже о Ришелье, Конде и Буйон-Тюренне.

Почему же Портосу, другу его величества короля и г-на Фуке, барону, королевскому инженеру, не насладиться всеми этими удовольствиями, связанными с богатством и большими заслугами?

Портоса стал забывать Арамис, занятый, как мы знаем, делами Фуке, немного забросил его и д'Артаньян, поглощенный своею службой. Трюшен и Планше успели ему изрядно наскучить, и он ловил себя на каких-то неясных ему самому мечтаниях. И всякому, кто спросил бы его, ощущает ли он, что ему чего-то недостает, он не обинуясь ответил бы: «Да».

Как-то после обеда, когда Портос, немного повеселев от хороших вин, но снедаемый честолюбивыми мыслями, старался припомнить во всех подробностях королевский обед и собирался уже вздремнуть, его камердинер явился к нему с докладом, что с ним хочет переговорить виконт де Бражелон.

Выйдя в соседний зал, Портос обнаружил там своего юного друга, преисполненного, как мы знаем, серьезных намерений.

Рауль пожал руку Портосу, который, удивившись его мрачному виду, предложил ему сесть.

– Дорогой господин дю Валлон, я хочу попросить вас об услуге, – сказал Рауль.

– Вот и чудесно, – ответил Портос. – Только сегодня я получил из Пьерфона восемь тысяч ливров, и если вам нужны деньги...

– Нет, речь идет не о деньгах, благодарю вас, мой любезнейший друг.

– Очень жаль! Я не раз слышал, что это наиболее редкая из услуг, но вместе с тем и такая, которую легче всего оказать. Эти слова поразили меня, а я люблю повторять слова, которые меня поражают.

– У вас столь же доброе сердце, как здравый ум.

– Вы слишком добры ко мне. Быть может, желаете пообедать?

– О нет, я не голоден.

– Вот как! Что за ужасная страна Англия...

– Не очень. Но...

– Если б в ней не было превосходной рыбы и хорошего мяса, там было бы совсем нестерпимо.

– Да... Я пришел...

– Слушаю вас. Позвольте мне только утолить жажду. В Париже едят очень солоно. Фу! И Портос велел принести бутылку шампанского.

Он наполнил стакан Рауля, потом свой, отпил большой глоток и возобновил разговор:

– Это было необходимо, чтобы внимательно слушать вас. Теперь я весь к вашим услугам.

Что вам угодно, мой милый Рауль? Чего вы желаете?

– Выскажите, пожалуйста, свое мнение относительно ссор.

– Мое мнение? Изложите немного подробнее свою мысль, – ответил Портос, почесывая пальцами лоб.

– Я хочу сказать: в каком вы бываете настроении, если между кем-нибудь из ваших друзей и посторонним лицом произошла ссора?

– О, в прекраснейшем, как всегда.

– Отлично. Что же вы тогда делаете?

– Когда у моих друзей происходят ссоры, я держусь своего обычного принципа: потерянное время невосвратимо, и всякое дело хорошо улаживается, пока люди еще не остыли.

– Ах, неужели в этом ваш принцип?

– Вот именно. Поэтому, едва лишь возникла ссора, я тороплюсь свести друг с другом противные стороны. Вы понимаете, что при таких обстоятельствах невозможно, чтоб дело не было улажено как подобает.

– Я думал, – удивился Рауль, – что если повести его так, как вы говорите, то оно, напротив...

– Ни в коем случае. Представьте себе, за мою жизнь у меня было что-то вроде ста восьмидесяти или ста девяноста настоящих дуэлей, не считая случайных встреч.

– Вот это число! – сказал Рауль с невольной улыбкой.

– О, это сущие пустяки – я ведь чертовски спокойный. Вот д'Артаньян – он свои дуэли насчитывает сотнями. Правда, он суров и придиричив, и я нередко укорял его в этом.

– Значит, вы, как правило, стремились уладить порученные вам друзьями дела?

– Не было случая, чтоб я не улаживал их, – ответил Портос с таким добродушием и уверенностью, что Рауль едва не вскочил со своего кресла.

– Но соглашения по крайней мере бывали почетными?

– О, готов поручиться. Погодите минутку, я объясню вам, в чем состоит второй принцип, которого я придерживаюсь. Как только мой друг посвятил меня в свою ссору, я принимаюсь действовать следующим образом: я немедленно отправляюсь к его противнику, вооружаюсь отменной любезностью и хладнокровием, которые, безусловно, необходимы при этом...

– Вот потому-то, – с горечью промолвил Рауль, – вы так удачно и уверенно улаживаете дела этого рода.

– Полагаю, что так. Итак, я отправляюсь к противнику и говорю ему: «Сударь, невозможно, чтобы вы не отдавали себе отчета, до какой степени вы оскорбили моего друга».

Рауль нахмурился.

– Иногда, и даже часто, – продолжал Портос, – мой друг не подвергался никаким оскорблениям, больше того, он первым наносил оскорбление. Судите-ка сами, ловко ли я приступаю к делу.

Портос расхохотался. И пока гремел его смех, Рауль думал: «Мне решительно не везет. Де Гиш заморозил меня своей холодностью, д'Артаньян издевается надо мной, а Портос слишком мягок – никто не хочет уладить это дело так, как я считаю нужным. А я-то обратился к Портосу в надежде встретить наконец шпагу вместо рассуждений и уговоров... До чего же мне не везет!»

Портос отдышался и продолжал:

– Итак, я одной этой фразой превращаю противника в виновную сторону.

– Это как когда, – рассеянно заметил Рауль.

– Нет, это способ проверенный... превращаю его в виновную сторону; тут я расстилаю перед ним всю доступную мне учтивость, дабы довести свой замысел до счастливой развязки. И вот я подхожу с приветливым видом, беру противника за руку...

– О! – нетерпеливо воскликнул Рауль.

– И говорю: «Сударь, теперь, когда вы убедились, что нанесли оскорбление, мы можем быть уверены в том, что вы не откажетесь ответить за свои действия. Отныне между моим другом и вами возможны лишь безукоризненно любезные отношения. Ввиду этого мне поручено сообщить вам размеры шпаги моего друга».

– Как? – воскликнул Рауль.

– Погодите, это не все. «Размеры шпаги моего друга... Внизу у меня есть запасная лошадь; мой друг ожидает вас там-то и там-то; я увожу вас с собой, по дороге мы захватим вашего секунданта. И дело улажено».

– И вы мирите противников на месте дуэли? – спросил Рауль, побледнев от досады.

– Как? – перебил Портос. – Мирю? Это зачем же?

– Но вы говорите, что дело улажено?

– Разумеется, раз мой друг ожидает.

– Ну, если он ожидает...

– Если он ожидает, то лишь затем, чтобы предварительно размять себе ноги. А у противника тело напряжено после лошади. Они занимают позицию, мой друг убивает врага. Вот и все.

– Ах, он убивает его? – удивился Рауль.

– Еще бы! Разве я выбираю себе друзей среди тех, кто дает убивать себя? У меня сто один друг, во главе которых могут быть названы ваш почтенный отец, Арамис и д'Артаньян, а они, как кажется, люди, о которых не скажешь, что пред тобою покойник.

– О милый барон! – воскликнул в восторге Рауль. И он с жаром поцеловал Портоса.

– Значит, вы одобряете этот метод? – спросил великан.

– Одобряю, и так одобряю, что обращусь к вашей помощи сегодня же, без промедления, сию же минуту. Вы как раз тот человек, которого мне не хватало.

– Отлично! Я к вашим услугам. Вы желаете драться?

– Во что бы то ни стало.

– Это вполне естественно. С кем же?

– С господином де Сент-Эньяном.

– Я его знаю... Это очаровательный молодой человек, и он был чрезвычайно любезен со мной, когда я имел честь обедать у короля. Разумеется, я ему также отвечу любезностью, даже если б это не входило в мои привычки. Что же, он оскорбил вас?

– Смертельно.

– Черт подери! Я могу употребить слово «смертельно»?

– Если угодно, даже какое-нибудь еще посильнее.

– Это очень удобно.

– Вот и улажено дело, не так ли? – улыбаясь, сказал Рауль.

– Разумеется... Где вы намерены дожидаться его?

– О, это сложно, простите. Граф де Сент-Эньян – близкий друг короля.

– Я это слышал.

– И если мне доведется убить его...

– Вы его, несомненно, убьете. Но вы сами должны позаботиться насчет своей безопасности; ведь эти вещи делаются теперь без больших затруднений. Если б вы жили в мои времена, вот было бы славно!

– Милый друг, вы меня не поняли. Я хочу сказать, что эту дуэль не так-то просто устроить; ведь де Сент-Эньян друг короля, и король может узнать заранее.

- Ну нет! Вам же знаком мой метод: «Сударь, вы оскорбили моего друга и...»
- Да, я знаю.
- А потом: «Сударь, лошадь внизу». И я увожу его прежде, чем он успеет с кем-нибудь перемолвиться хотя бы словечком.
- Но даст ли он так легко увезти себя?
- Черт подери! Хотел бы я поглядеть! Он был бы первый... Правда, современные молодые люди... Ну что ж, если понадобится, я унесу его на руках.
- И Портос, присовокупив к словам дело, поднял Рауля вместе со стулом.
- Отлично, – сказал молодой человек со смехом. – Теперь нам остается уяснить еще последний вопрос.
- Какой вопрос?
- Вопрос об оскорблении, которое мне нанес де Сент-Эньян.
- Но тут больше не о чем говорить.
- Нет, дорогой господин дю Валлон, у современных людей, как вы выражаетесь, существует правило, согласно которому причины вызова должны быть объяснены.
- Да, по вашей новой системе оно действительно так. В таком случае расскажите мне суть вашего дела.
- Видите ли...
- Проклятие! Вот уж и затруднение. В прежние времена нам никогда не приходилось вдаваться в подробности. Дрались, потому что дрались. Что до меня, я никогда не искал лучшей причины.
- Вы совершенно правы, друг мой.
- Слушаю вас. Каковы же ваши мотивы?
- Долго рассказывать. Но так как все же придется вдаваться в подробности...
- Да, да, черт подери. Это нужно в соответствии с требованиями новой системы.
- И так как, повторяю, придется вдаваться в подробности, и, с другой стороны, дело мое представляет множество затруднений и требует полной тайны...
- Еще бы!
- Вы сделаете мне величайшее одолжение, если передадите графу де Сент-Эньяну – и он поймет – только то, что он оскорбил меня, во-первых, своим переездом.
- Переездом... Хорошо, – сказал Портос и принялся загибать пальцы на руке. – Дальше.
- Далее, тем, что устроил люк в своей новой квартире.
- Понимаю – люк. Черт, это существенно! Понятно, что это должно было вызвать в вас ярость. И как смел этот бездельник устраивать люки, не переговорив предварительно с вами! Люки! Тысяча чертей! Да у меня и то нет ничего похожего, если не считать моей подземной тюрьмы в Брасье!
- Вы добавьте, что последнее мое основание считать себя оскорбленным – это портрет, который хорошо знаком графу де Сент-Эньяну.
- Ну вот, еще и портрет!.. Подумать только! Переезд, люк и портрет. Но, друг мой, и одного из этих трех оснований достаточно, чтобы все дворяне Франции и Испании перерезали друг другу горло, а ведь это немало.
- Значит, милый мой, вы теперь в достаточной мере осведомлены?
- Я беру с собой и вторую лошадь. Выбирайте место вашего поединка и, пока вы будете дожидаться, поупражняйтесь в плии и в выпадах, это придает телу редкую гибкость.
- Благодарю вас. Я буду ждать в Венсенском лесу, возле монастыря Меньших Братьев.
- Прекрасно... но где же мне искать этого графа де Сент-Эньяна?
- В королевском дворце.
- Портос зазвонил в колокольчик солидных размеров. Появился слуга.
- Мое придворное платье, – приказал он, – и мою лошадь. И еще одну лошадь со мной.

Слуга поклонился и вышел.

– Ваш отец знает об этом? – спросил Портос.

– Нет, но я напишу ему.

– А д'Артаньян?

– Господин д'Артаньян тоже не знает. Он осторожен и отговорил бы меня от дуэли.

– Однако д'Артаньян умный советчик, – сказал Портос, удивленный в своей благородной скромности, что можно обращаться к нему, когда на свете есть д'Артаньян.

– Дорогой господин дю Валлон, – продолжал Рауль, – умоляю вас, не расспрашивайте меня. Я сказал все, что мог. Я жажду действий и хочу, чтобы они были суровыми и решительными, такими, какими вы умеете сделать их благодаря предварительной подготовке. Вот почему я обратился именно к вам.

– Вы будете мною довольны, – кивнул Портос.

– И помните, дорогой друг, что, кроме нас с вами, никто не должен знать об этой дуэли.

– Об этих вещах, однако, догадываются, когда находят в лесу мертвеца. Ах, милый друг, обещаю вам все на свете, но только я не стану прятать покойника. Он тут, его увидят, этого не избежать. У меня принцип не зарывать его в землю. От этого пахнет убийством. От риска к риску, как говорят нормандцы.

– Храбрый и дорогой друг, за дело!

– Доверьтесь мне, – сказал великан, приканчивая бутылку, в то время как его лакей раскладывал на креслах роскошное платье и кружева.

Рауль вышел от Портоса с тайной радостью в сердце; он говорил себе:

«О коварный король! О предатель! Я не могу поразить тебя: короли – особы священные! Но твой сообщник, твой сводник, который представляет тебя, этот подлец заплатит за твое преступление! В его лице я убью тебя, а потом подумаем и о Луизе».

## XV. Переезд, люк и портрет

Портос, чрезвычайно довольный возложенным на него поручением, которое некоторым образом молодило его, облачился в придворное платье, потратив на свой туалет по крайней мере на полчаса меньше обычного.

Как человек, который бывал в большом свете, он начал с того, что послал своего лакея узнать, дома ли граф де Сент-Эньян. Ему ответили, что г-н граф имел честь сопровождать короля в Сен-Жермен вместе со всем двором и только что возвратился. Услышав этот ответ, Портос поспешил и вошел в квартиру графа де Сент-Эньяна в тот самый момент, когда с него только что принялись стаскивать сапоги.

Прогулка была превосходной. Король, все более и более влюбленный, все более и более счастливый, был очаровательно любезен со всеми. Он расточал вокруг несравненные милости, как выражались в те дни поэты.

Наши читатели не забыли, что граф де Сент-Эньян был стихотворцем и находил, что доказал это при достаточно памятных обстоятельствах, обеспечивающих за ним это звание. В качестве неутомимого любителя рифм он всю дорогу засыпал четверостишиями, шестистишиями и мадригалами сначала короля, затем Лавальер.

Король был также в ударе и сочинил дистих. Что же касается Лавальер, то, как всякая влюбленная женщина, она сочинила два премилых сонета.

Как видит читатель, день для Аполлона был неплохой.

Возвратившись в Париж, де Сент-Эньян, знавший заранее, что его стихи распространятся по всему городу, занялся с большей придирчивостью, чем во время прогулки, содержанием и формой своих творений. Поэтому он, словно нежный отец, которому предстоит вывезти своих детей в свет, все время задавал себе один и тот же вопрос – найдет ли публика стройными, приглаженными и изящными создания его воображения.

И вот, чтобы снять с души это тяжелое бремя, Сент-Эньян произносил вслух мадригал, который по памяти прочел королю и который обещал дать ему по возвращении в переписанном виде:

Ирис, я замечал, что ваш лукавый глаз  
Дает не тот ответ, что сердцем был подсказан.  
Зачем же я судьбой печально наказан  
Любить лишь то, чем я обманут был не раз?

Этот мадригал, хоть и очень изящный для устного чтения, теперь переходил в разряд рукописной поэзии и не вполне удовлетворял Сент-Эньяна. Несколько человек нашли мадригал превосходным, и первым среди них был сам автор. Но при ближайшем рассмотрении стихи поблекли в его глазах. Сент-Эньян сидел за столом, положив ногу на ногу, и, почесывая висок, повторял свои строки.

– Нет, последний стих решительно не удался. Надо мной будут издеваться мои собратья бумагомаратели. Мои стихи назовут стихами вельможи, и если король услышит, что я слабый поэт, ему может прийти в голову уверовать в это.

Предаваясь подобным размышлениям, Сент-Эньян раздевался. Он только что снял камзол и собирался надеть халат, как ему доложили, что его желает видеть барон дю Валлон де Брасье де Пьерфон.

– Что за гроздь имен! Я не знаю такого.

– Это дворянин, – ответил лакей, – который имел честь обедать с господином графом за столом короля во время пребывания его величества в Фонтенбло.

– У короля в Фонтенбло! – вскричал де Сент-Эньян. – Скорей, скорей, просите сюда этого дворянина!

Лакей поспешил выполнить приказание. Портос вошел.

У Сент-Эньяна была память придворного: он сразу узнал провинциального дворянина с несколько забавною репутацией, который, несмотря на улыбки стоявших вокруг офицеров, был обласкан в Фонтенбло королем. Де Сент-Эньян, помня об этом, встретил Портоса с изъявлениями глубокого уважения, что Портос нашел совершенно естественным, так как, входя к противнику, он неуклонно придерживался правил такой же утонченной учтивости.

Де Сент-Эньян приказал лакею, доложившему о посетителе, пододвинуть Портосу стул. Последний, не видя ничего особенного в такой любезности, сел и откашлялся. Они обменялись обычными приветствиями, после чего граф в качестве хозяина, принимавшего гостя, спросил:

– Господин барон, какому счастливому случаю обязан я честью вашего посещения?

– Именно это я и хотел иметь честь объяснить вам, господин граф, – но простите...

– Что такое, барон?

– Я чувствую, что ломаю ваш стул.

– Нисколько, барон, нисколько, – сказал Сент-Эньян.

– Но я все-таки ломаю его, господин граф, и если не потороплюсь встать, то упаду и окажусь в положении, совершенно неприличном для того серьезного поручения, с которым явился.

Портос встал, и вовремя, так как ножки стула подогнулись и сиденье опустилось на несколько дюймов. Сент-Эньян стал искать глазами более крепкое кресло, чтобы усадить в него своего гостя.

– Современная мебель, – заметил Портос, пока граф занимался этими поисками, – современная мебель стала до смешного непрочной. В моей юности, когда я усаживался гораздо энергичнее, чем теперь, я не помню, чтобы мне пришлось сломать хоть когда-нибудь стул, если не говорить о тех случаях, когда я ломал их руками в трактире.

Де Сент-Эньян ответил на эту шутку любезной улыбкой.

– Но, – продолжал Портос, садясь на кушетку, которая заскрипела, но все-таки выдержала, – к несчастью, дело не в этом.

– Как, к несчастью? Разве вы пришли, барон, с дурной вестью?

– Дурной вестью для дворянина? О нет, господин граф! – вежливо ответил Портос. – Я прибыл затем, чтобы заявить, что вы жестоко оскорбили одного из моих друзей.

– Я, сударь! – воскликнул де Сент-Эньян. – Я оскорбил одного из ваших друзей? Кого же, назовите, прошу вас!

– Виконта Рауля де Бражелона!

– Я оскорбил господина де Бражелона! Право же, сударь, я никак не мог это сделать, так как господин де Бражелон, которого я почти не знаю, которого, могу сказать, я даже совсем не знаю, находится в Англии. Не видя его очень давно, я не мог нанести ему оскорбления.

– Господин де Бражелон, сударь, в Париже, – говорил невозмутимый Портос, – что же касается оскорбления, то ручаюсь, что вы действительно оскорбили виконта де Бражелона... раз он сам сказал мне об этом. Да, граф, вы оскорбили его жестоко, смертельно, повторяю – смертельно.

– Невозможно, барон, клянусь вам, решительно невозможно!

– Впрочем, – добавил Портос, – вы не можете не знать этого обстоятельства, так как виконт де Бражелон сообщил мне в беседе, что предупредил вас запиской.

– Я не получал никакой записки. Даю вам слово.

– Поразительно! – ответил Портос. – А Рауль говорит...

– Вы сейчас убедитесь, что я действительно не получал этой записки, – сказал Сент-Эньян и позвонил. – Баск, сколько в мое отсутствие принесли записок и писем?

– Три, господин граф.

– Какие?

– Записку от господина де Фьеска, записку от господина де Ла Ферте и письмо от господина де Лас Фуэнтес.

– Это все?

– Все, господин граф.

– Говори правду перед господином бароном, самую истинную правду, слышишь! Из-за тебя я буду в ответе.

– Господин граф, была еще записка от...

– От кого! Говори скорей!

– От мадемуазель де Лаваль...

– Достаточно, – перебил Портос, побуждаемый к этому деликатностью. – Прекрасно, я верю вам, господин граф.

Де Сент-Эньян выслал лакея и собственноручно запер за ним дверь. Возвращаясь к своему гостю и глядя прямо перед собой, он вдруг заметил, что из замочной скважины двери, ведущей в соседнюю комнату, торчит бумажка, которая была всунута туда Бражелоном.

– Что это такое? – спросил он.

– О, о! – воскликнул Портос.

– Записка в замочной скважине!

– Быть может, это и есть наша записка, господин граф, – предположил Портос. – Посмотрите!

Сент-Эньян вынул бумажку и раскрыл ее.

– Записка от господина де Бражелона!

– Видите, я оказался прав. О, если я что-нибудь утверждаю...

– Принесена сюда самим виконтом де Бражелоном, – пролепетал граф, бледнея. – Но это возмутительно! Как он проник сюда?

Сент-Эньян позвонил снова, и опять появился Баск.

– Кто приходил сюда, пока я был на прогулке с его величеством королем?

– Никто, господин граф.

– Невозможно! Кто-то здесь был.

– Нет, господин граф, никто не мог проникнуть сюда, так как ключи были в моем кармане.

– И тем не менее вот записка, которая была вложена в замочную скважину. Кто-то сунул ее туда. Не могла же она появиться сама по себе!

Баск развел руками в знак полного недоумения.

– Возможно, что это сделал господин де Бражелон, – заметил Портос.

– Значит, он входил сюда?

– Несомненно, сударь.

– Но как же, раз ключ был при мне? – продолжал настаивать Баск.

Де Сент-Эньян прочитал записку и смял ее.

– Здесь что-то скрывается, – пробормотал он в раздумье.

Портос, предоставив ему несколько мгновений на размышления, возвратился затем к первоначальному предмету их разговора.

– Не желаете ли вернуться к вашему делу? – спросил он де Сент-Эньяна, когда лакей удалился.

– Но его объясняет, по-видимому, эта записка, столь непонятным образом попавшая сюда. Виконт де Бражелон сообщает, что меня посетит один из его друзей.

– Этот друг – я; выходит, что он сообщает вам о моем посещении.

– С тем, чтобы передать вызов?

– Вот именно.

– И он утверждает, что я оскорбил его?

– Жестоко, смертельно.

– Но каким образом, объясните, пожалуйста. Его действия столь таинственны, что мне затруднительно обнаружить в них какой-нибудь смысл.

– Сударь, – ответил Портос, – мой друг должен располагать достаточными причинами; что же до его действий, то если они, как вы говорите, таинственны, – обвиняйте в этом лишь самого себя.

Последние слова Портос произнес таким уверенным тоном, что человек, который знал его недостаточно хорошо, должен был бы подумать, что они полны глубокого смысла.

– Тайна! Допустим. Давайте постараемся разобраться в ней, – сказал де Сент-Эньян.

Но Портос наклонил голову и изрек:

– Для вас предпочтительнее, чтобы я не входил в ее рассмотрение; на это есть исключительно серьезные основания.

– Я очень хорошо понимаю их. Отлично, сударь. Ограничьтесь лишь самым легким намеком; я слушаю вас.

– Прежде всего тем, – начал Портос, – что вы переехали со старой квартиры.

– Это правда, я переехал.

– Вы, стало быть, признаете это? – спросил Портос с видимым удовольствием.

– Признаю ли? Ну да, признаю. С чего вы взяли, что я могу отпираться?

– Вы признали? Отлично, – отметил Портос, поднимая вверх один палец.

– Послушайте, сударь, каким образом мой переезд может причинить какой-либо вред виконту де Бражелону? Отвечайте же! Я совершенно не понимаю того, о чем вы толкуете.

Портос остановил графа и важно заявил:

– Сударь, это лишь первое обвинение среди тех, которые выдвигает против вас господин де Бражелон. Если он выдвигает его, значит, он почувствовал себя оскорбленным.

Сент-Эньян нетерпеливо ударил ногой по паркету.

– Это похоже на неприличную ссору, – сказал он.

– Нельзя иметь неприличной ссоры с таким порядочным человеком, как виконт де Бражелон, – продолжал Портос. – Итак, вы ничего не можете прибавить по поводу переезда?

– Нет. Дальше?

– Ах, дальше? Но заметьте, сударь, что вот уже одно обвинение, на которое вы не ответили или, вернее сказать, ответили плохо. Как, сударь, вы переезжаете со старой квартиры, это оскорбляет господина де Бражелона, и вы не приносите своих извинений. Очень хорошо!

– Что? – воскликнул де Сент-Эньян, выведенный из себя флегматичностью своего собеседника. – Я должен советоваться с господином де Бражелоном, переезжать мне или остаться на прежнем месте? Помилуйте, сударь!

– Обязательно, сударь, обязательно. Однако вы увидите, что это ничто по сравнению со вторым обвинением.

Портос принял суровый вид:

– А о люке, сударь, что скажете вы о люке?

Сент-Эньян мертвенно побледнел. Он так резко отодвинул стул, что Портос, при всей своей детской наивности, догадался о силе нанесенного им удара.

– О люке? – пробормотал Сент-Эньян.

– Да, сударь, объясните, пожалуйста, если можете, – предложил Портос, потрянув головой.

Де Сент-Эньян потупился и прошептал:

– О, я предан! Известно все, решительно все!

– Все в конце концов делается известным, – заметил Портос, который, в сущности, ничего не знал.

– Вы видите, я так поражен, до того поражен, что теряю голову!

– Нечистая совесть, сударь! О, очень нехорошо!

– Милостивый государь!

– И когда свет узнает, и пойдут пересуды...

– О сударь, такую тайну нельзя сообщить даже духовнику! – вскричал граф.

– Мы примем меры, и тайна далеко не уйдет.

– Но, сударь, – продолжал де Сент-Эньян, – господин де Бражелон, узнав эту тайну, отдает ли себе отчет в опасности, которой он подвергается и подвергает других?

– Господин де Бражелон не подвергается никакой опасности, сударь, никакой опасности не боится, и с божьей помощью вы на себе самом вскоре испытаете это.

«Он сумасшедший! – подумал де Сент-Эньян. – Чего ему от меня нужно?»

Затем он проговорил вслух:

– Давайте, сударь, оставим это дело.

– Вы забываете о портрете! – произнес Портос громовым голосом, от которого у графа похолодела кровь.

Так как речь шла о портрете Лавальер и так как на этот счет не могло быть ни малейших сомнений, де Сент-Эньян почувствовал, что он прозревает.

– А-а! – вскричал он. – Вспоминаю, господин де Бражелон был ее женихом.

Портос напустил на себя важность – эту величавую личину невежества.

– Ни меня, ни вас также не касается, – сказал он, – был ли мой друг женихом той особы, о которой вы говорите. Больше того, я поражен, что вы позволили себе столь неосторожное слово. Оно может, сударь, причинить вам немало вреда.

– Сударь, вы – сам разум, сама деликатность, само благородство, совмещающиеся в одном лице. Наконец-то я догадался, о чем, собственно, идет речь.

– Тем лучше! – кивнул Портос.

– И вы дали мне понять это самым точным и умным способом. Благодарю вас, сударь, благодарю.

Портос напыжился.

– Но теперь, – продолжал Сент-Эньян, – теперь, когда я постиг все до конца, позвольте мне объяснить...

Портос покачал головой, как человек, не желающий слушать, но де Сент-Эньян снова заговорил:

– Я в отчаянии, поверьте мне, я в полном отчаянии от всего, что случилось, но что бы вы сделали на моем месте? Ну, между нами, скажите, что бы вы сделали?

Портос поднял голову.

– Дело не в том, молодой человек, что бы я сделал и чего бы не сделал. Вы осведомлены о трех обвинениях, разве не так?

– Что касается первого среди них, сударь, – и здесь я обращаюсь к человеку разума и чести, – раз было высказано августейшее пожелание, чтобы я перебрался в другие комнаты, следовало ли мне, мог ли я пойти против него?

Портос открыл было рот, но де Сент-Эньян не дал ему заговорить.

– Ах, моя откровенность трогает вас, – сказал он, объясняя по-своему движение Портоса. – Вы согласны, что я прав?

Портос ничего не ответил.

– Я перехожу к этому проклятому люку, – повысил голос де Сент-Эньян, касаясь плеча Портоса, – к этому люку, причине зла, орудию зла; люку, устроенному для того... вы знаете для чего. Неужели вы и впрямь можете предположить, что я по собственной воле в подобном месте велел сделать люк, предназначенный... О, вы не верите в это, и здесь также вы чувствуете, вы угадываете, вы видите волю, стоящую надо мной. Вы понимаете, что тут увлечение, я не

говорю о любви, этом неодолимом безумии... Боже мой! К счастью, я имею дело с человеком сердечным, чувствительным, иначе... какая беда и позор для нее, бедной девушки!.. и для того... кого я не хочу называть!

Портос, оглушенный и сбитый с толку красноречием и жестикуляцией де Сент-Эньяна, застывший на месте, делал тысячу усилий, принимая на себя это извержение слов, из которых он не понимал ни единого.

Де Сент-Эньян увлекся своею речью; придавая новую силу голосу, жестикулируя все стремительней и порывистей, он говорил без остановки:

– Что до портрета (я очень хорошо понимаю, что портрет – главное обвинение), что до портрета, то подумайте, разве я в чем-нибудь виноват? Кто захотел иметь этот портрет? Неужели я? Кто ее любит? Неужели я? Кто желает ее? Неужели я? Кто овладел ею? Разве я? Нет, тысячу раз нет! Я знаю, что господин де Бражелон должен быть в отчаянии, я знаю, что такие несчастья переживаются крайне мучительно. Знаете, я и сам страдаю. Но сопротивление невозможно. Он будет бороться? Его высмеют. Если он будет упорствовать, то погубит себя. Вы мне скажете, что отчаяние – это безумие; но ведь вы благоразумны, и вы меня поняли! Я вижу по вашему сосредоточенному, задумчивому, даже, позволю себе сказать, озабоченному лицу, что серьезность положения поразила и вас. Возвращайтесь же к виконту де Бражелону; поблагодарите его от моего имени, поблагодарите за то, что он выбрал в качестве посредника человека ваших достоинств. Поверьте, что со своей стороны я сохраню вечную благодарность к тому, кто так тонко, с таким пониманием уладил наши раздоры. И если злему року было угодно, чтоб эта тайна принадлежала не трем, а четырем лицам, тайна, которая могла бы составить счастье самого честолюбивого человека, я радуюсь, что разделяю ее вместе с вами, радуюсь от всего сердца. Начиная с этой минуты располагайте мною, я – в вашем распоряжении. Что я мог бы сделать для вас? Чего я должен просить, больше того, чего должен требовать? Говорите, барон, говорите!

И по фамильярно-приятельскому обычаю придворных той эпохи де Сент-Эньян обнял Портоса и нежно прижал к себе. Портос с невозмутимым спокойствием позволил обнять себя.

– Говорите, – повторил де Сент-Эньян, – чего вы просите?

– Сударь, – сказал Портос, – у меня внизу лошадь, будьте добры сесть на нее, она превосходна и не причинит вам ни малейшего беспокойства.

– Сесть на лошадь? Зачем? – спросил с любопытством де Сент-Эньян.

– Чтобы отправиться со мною туда, где нас ожидает виконт де Бражелон.

– Ах, он хотел бы поговорить со мной, я понимаю. Чтобы узнать подробности? Увы, это такая деликатная тема. Но сейчас я никак не могу, меня ожидает король.

– Король подождет, – продолжал Портос.

– Но где же дожидается меня господин де Бражелон?

– У Меньших Братьев, в Венсенском лесу.

– Мы с вами шутим, не так ли?

– Не думаю; по крайней мере я совсем не шучу. – И, придав своему лицу суровое выражение, Портос добавил: – Меньшие Братья – это место, где встречаются, чтобы драться.

– В таком случае что же мне делать у Меньших Братьев?

Портос не торопясь обнажил шпагу.

– Вот длина шпаги моего друга, – показал он.

– Черт возьми, этот человек спятил! – воскликнул де Сент-Эньян.

Краска бросилась в лицо Портосу.

– Сударь, – проговорил он, – если б я не имел чести быть у вас в доме и исполнять поручение виконта де Бражелона, я выбросил бы вас в ваше собственное окно! Но этот вопрос мы отложим на будущее, и вы ничего не потеряете от отсрочки. Едете ли вы в Венсенский лес, сударь?

– Э, э...

– Едете ли вы туда по-хорошему?

– Но...

– Я потащу вас силой, если вы не желаете по-хорошему. Берегитесь!

– Баск! – закричал де Сент-Эньян.

Баск вошел и сообщил:

– Король вызывает к себе господина графа.

– Это другое дело, – промолвил Портос, – королевская служба прежде всего. Мы будем ждать вас до вечера, сударь.

И, поклонившись де Сент-Эньяну со своей обычной учтивостью, Портос вышел в восторге, считая, что уладил и это дело.

Де Сент-Эньян посмотрел ему вслед; затем, поспешно надев парадное платье, он побежал к королю, повторяя:

– В Венсенский лес!.. Венсенский лес!.. Посмотрим, как король отнесется к этому вызову. Он направлен, черт возьми, ему самому, и никому больше!

## XVI. Политические соперники

После столь прибыльной для Аполлона прогулки, во время которой каждый участник ее отдал дань музам, как говорили в ту пору поэты, король застал у себя Фуке, ожидавшего его возвращения.

Немедля вошел и Кольбер, который подстерегал короля в коридоре и теперь следовал за ним по пятам, как бдительная и ревнивая тень, все тот же Кольбер со своей квадратною головой, в своем грубо-роскошном, но дурно сидящем платье, придававшем ему сходство с налившимся пивом фламандским вельможей.

При виде врага Фуке остался невозмутимо-спокойным. В течение всей последующей сцены он старался не выдать своих истинных чувств, хотя это и было нелегко для человека высшего ранга, сердце которого переполнено до краев презрением и который опасается выказать это презрение, полагая, что и оно слишком большая честь для противника.

Кольбер не скрывал своей радости, столь оскорбительной для Фуке. По его мнению, Фуке плохо сыграл свою партию, и хотя она еще не закончена, положение его – безнадежно. Кольбер принадлежал к той школе политических деятелей, которая восхищается одной только ловкостью и способна уважать лишь успех.

К тому же он был не только завистником и честолюбцем, но и человеком, глубоко преданным интересам короны, так как отличался той особой честностью, которая свойственна людям, посвятившим свою жизнь служению цифрам, и, таким образом, ненавидя и толкая на гибель Фуке, он мог находить для себя оправдание – а оно крайне необходимо всякому, кто ненавидит, – хотя бы в том, что действует не ради себя, но ради блага всего государства и достоинства короля.

Ни одна из этих тончайших подробностей не ускользнула от пронизательного взора Фуке. Сквозь нависшие брови своего врага, несмотря на непрерывное мигание его век, он читал по глазам Кольбера, заглядывая в глубину его сердца, и видел все, что таило в себе это сердце, видел ненависть и торжество.

Но, проникая своим взглядом повсюду, Фуке хотел оставаться непроницаемым. На лице его царил полная безмятежность; он улыбнулся очаровательной, милой улыбкой, какой он один умел улыбаться, и, придавая своему поклону исключительно благородную и изящную непринужденность, начал:

– По вашему веселому виду, ваше величество, я заключаю, что прогулка, которую вы совершили, была весьма и весьма приятной.

– Очаровательной, господин суперинтендант, очаровательной. И вы напрасно не поехали с нами, напрасно отвергли мое приглашение.

– Государь, я работал.

– Ах, деревня, деревня, господин Фуке! – воскликнул король. – Боже, как было бы хорошо жить постоянно в деревне, на вольном воздухе, среди зелени!

– Надеюсь, ваше величество, вы еще не устали от трона? – спросил Фуке.

– Нет, не устал, но троны из зелени так изумительно хороши!

– Ваше величество, говоря такие слова, воистину предвосхищает мои упования. У меня есть ходатайство к вам, ваше величество.

– От кого, господин суперинтендант?

– От нимф, обитательниц Во.

– Ах!

– Король удостоил меня обещанием, – сказал Фуке.

– Да, да! Помню.

– Празднество в Во, знаменитое празднество в Во, не так ли, ваше величество? – встал Кольбер, стремясь показать этим вмешательством в разговор, что он пользуется расположением короля.

Фуке, полный презрения, не удостоил Кольбера ответом; он вел себя так, словно Кольбер не высказал никакой мысли, словно его вообще не существовало.

– Ваше величество знаете, что я избрал мое имение в Во для приема любезнейшего из государей, могущественнейшего из королей.

– Сударь, – улыбнулся Людовик XIV, – я обещал; королевское слово не нуждается в подтверждении.

– А я, ваше величество, пришел доложить, что весь к вашим услугам.

– Вы обещаете много чудес, господин суперинтендант?

И Людовик XIV взглянул на Кольбера.

– Чудеса? О нет, ваше величество, я не берусь поражать вас чудесами; но надеюсь, что могу обещать немного веселья, быть может, даже немного забвения королю.

– Нет, господин Фуке, я настаиваю на слове «чудо». Ведь вы волшебник, мы знаем ваше могущество; мы знаем, что вы отыщете золото, даже если его и вовсе не станет на свете. Ведь недаром же народ говорит, что вы его делаете.

Фуке почувствовал удар, направленный с двух сторон: король метнул стрелу не только из своего лука, но и из лука Кольбера. Фуке рассмеялся:

– О, народ отлично осведомлен, из каких россыпей я беру это золото. Он знает это, и знает, быть может, чересчур хорошо. И к тому же, – добавил он гордо, – могу заверить ваше величество, что золото для оплаты праздника в Во не будет стоить народу ни крови, ни слез. Оно будет стоить пота, но этот пот будет оплачен.

Людовик смутился. Он хотел было посмотреть на Кольбера. Кольбер хотел было ответить, но орлиный, благородный, почти королевский взгляд, брошенный на него Фуке, остановил слова на устах интенданта.

Тем временем король оправился от смущения и, обратившись к Фуке, сказал:

– Значит, вы приглашаете нас?

– Да, государь.

– На какой день?

– Какой вы сочтете удобным, ваше величество.

– Вы говорите точно волшебник, которому достаточно захотеть – и дело уже сделано. Я бы не решился на подобный ответ, господин Фуке.

– Вашему величеству, когда вы пожелаете, будет доступно решительно все, что может и должен свершить король. Король Франции располагает слугами, которые не остановятся ни перед чем ради службы ему и ради его удовольствий.

Кольбер сделал попытку посмотреть суперинтенданту в лицо, чтобы выяснить, не означают ли эти слова поворота к менее неприязненным чувствам, но Фуке даже не взглянул на своего врага. Кольбер не существовал для него.

– В таком случае через неделю, хотите? – предложил король.

– Хорошо, через неделю.

– Или нет. Сегодня вторник. Давайте отложим до следующего воскресенья, хотите?

– Отсрочка, благосклонно предоставленная мне вашим величеством, весьма благоприятно скажется на работах, которые предпринимают мои архитекторы, дабы развлечь ваше величество и ваших друзей.

– Кого же, господин Фуке, вы разумеете, говоря о моих друзьях?

– Король – хозяин повсюду, где бы он ни был. Король составляет список и отдает свои приказания. Кто удостоится его приглашения, тот и будет моим уважаемым гостем.

– Благодарю вас, – сказал король, тронутый благородным чувством, выраженным столь благородным образом.

Поговорив еще немного о различных делах и простившись с Людовиком XIV, Фуке откланялся. Он чувствовал, что Кольбер задержится у короля, что они будут говорить о нем и что ни тот, ни другой не станут щадить его.

И у него возникло желание нанести своему врагу последний страшный удар, который возместил бы все то, что ему пришлось вытерпеть от него. И вот, уже взявшись за ручку двери, Фуке поспешно вернулся на прежнее место и, обращаясь к королю, произнес:

– Простите, ваше величество!

– В чем я должен простить вас, сударь? – любезно спросил король.

– Я совершил тяжкий проступок, сам того не приметив.

– Проступок! Вы? Ах, господин Фуке, ничего не поделаешь, придется простить. Против чего или кого вы согрешили?

– Против приличия, ваше величество. Я забыл сообщить вам о довольно существенном обстоятельстве.

– Какое?

Кольбер вздрогнул; он подумал, что дело идет о доносе, что с него сорвана маска. Одно слово Фуке, одно приведенное им доказательство, и юное благородство Людовика XIV одолеет расположение, которое он к нему, Кольберу, питает. И Кольбера охватил страх, как бы смелый удар врага не разрушил его хитрого сооружения. И действительно, ход был настолько хорош, что Арамис, ловкий игрок, не преминул бы сделать это.

– Ваше величество, – сказал невозмутимо Фуке, – раз вы были так милостивы, что простили меня, я с легкой душой могу сделать признание: сегодня утром я продал одну из своих должностей.

– Одну из должностей, которые вы занимаете! – воскликнул король. – Но какую же?

Кольбер мертвенно побледнел.

– Ту, ваше величество, которая давала мне право на долгополую мантию и суровый облик, – должность генерального прокурора.

Король невольно вскрикнул и взглянул на Кольбера. У Кольбера на лбу выступил пот; ему показалось, что еще немного – и его хватит удар.

– Кому же вы продали эту должность, господин Фуке? – поинтересовался король.

Кольбер прислонился к камину.

– Одному парламентскому советнику, ваше величество, его зовут господин Ванель.

– Ванель?

– Одному из друзей интенданта финансов господина Кольбера, – добавил Фуке с такой неподражаемой небрежностью и с таким безразличием и простодушием, что художник, актер и поэт должны раз и навсегда отказаться воспроизвести их кистью, жестом или пером.

Произнеся эти слова и раздавив Кольбера своим превосходством, суперинтендант снова почтительно склонился пред королем и вышел, наполовину отмищенный изумлением властителя и унижением фаворита.

– Возможно ли это? – сказал, обращаясь к самому себе, Людовик XIV после ухода Фуке. – Он продал должность генерального прокурора?

– Да, ваше величество, – отчеканил Кольбер.

– Он сошел с ума! – заметил король.

На этот раз Кольбер ничего не ответил. Он прочитал мысль своего господина, и эта мысль также была его мщением. К его ненависти присоединилась еще и зависть; и если его план состоял в том, чтобы довести суперинтенданта до разорения, то теперь над Фуке нависла еще и угроза опалы.

Отныне – и Кольбер это почувствовал – его враждебность к Фуке не встретит больше противодействия со стороны Людовика XIV, и первый же промах Фуке, который можно было бы использовать как предлог, повлечет за собой беспощадное наказание. Фуке выронил из своих рук оружие. Ненависть и зависть только что подобрали его.

Король пригласил Кольбера на празднество; Кольбер поклонился, как человек, который уверен в себе, и принял королевское приглашение, как тот, кто оказывает одолжение.

Король принялся составлять список приглашаемых в Во. Когда он дошел до имени де Сент-Эньяна, лакей доложил о приходе графа де Сент-Эньяна. При появлении королевского Меркурия Кольбер скромно ретировался.

## XVII. Соперники в любви

Прошло не более двух часов, как Людовик XIV расстался с де Сент-Эньяном. Но, обуреваемый первым пылом любви, он испытывал настоящую потребность непрерывно говорить о Лавальер, когда не видел ее. Единственный человек, с которым он мог позволить себе откровенность подобного рода, был де Сент-Эньян; итак, де Сент-Эньян стал ему насущно необходим.

– Ах, это вы, граф! – воскликнул король, обрадованный и тем, что видит де Сент-Эньяна, и тем, что не видит больше Кольбера, хмурое лицо которого неизменно портило ему настроение. – Так это вы? Тем лучше! Вы пришли очень кстати. Вы участвуете в нашей поездке?

– В какой поездке, ваше величество?

– В поездке, которую мы предпримем в Во, где суперинтендант устраивает для нас празднество. Ах, де Сент-Эньян, ты увидишь наконец празднество, рядом с которым наши развлечения в Фонтенбло – забавы каких-нибудь приказных.

– В Во! Суперинтендант устраивает для вашего величества празднество в Во? Только-то?

– Только-то! Ты очарователен, напуская на себя равнодушие. Да знаешь ли ты, знаешь ли, что едва станет известно об этом приеме в Во, назначенном суперинтендантом на следующее воскресенье, как все наши придворные начнут грызть друг другу горло, лишь бы получить приглашение? Повторяю тебе, де Сент-Эньян, ты участвуешь в этой поездке.

– Да, ваше величество, если не совершу прежде более отдаленной и менее привлекательной.

– Какой же?

– На берега Стикса, ваше величество.

– Куда? – воскликнул со смехом Людовик XIV.

– Нет, серьезно, ваше величество; меня побуждают отправиться в эти края, и притом в такой решительной форме, что я, право, не знаю, как отказаться.

– Я не понимаю тебя, мой милый. Я знаю, правда, ты сегодня в ударе, но не спускайся с вершин поэзии в укутанные мглюю долины.

– Если ваше величество соблаговолите меня выслушать, я больше не стану вас мучить.

– Говори!

– Помнит ли король барона дю Валлона?

– Еще бы! Он отменный слуга короля, моего отца, и, честное слово, собутыльник не худший. Ты говоришь о том, который обедал у нас в Фонтенбло?

– Вот именно. Но ваше величество забыли упомянуть еще об одном его качестве – он предупредительный и любезный убийца!

– Как! Господин дю Валлон желает убить тебя?

– Или сделать так, чтобы меня убили, что то же самое.

– Ну что ты?

– Не смейтесь, ваше величество, я говорю чистую правду.

– И ты говоришь, что он добивается твоей смерти!

– В данный момент достойный дворянин только об этом и думает.

– Будь спокоен. В случае чего я сумею тебя защитить, если он в этом деле не прав.

– Ваше величество изволили произнести слово «если».

– Разумеется. Отвечай же мне, мой бедный де Сент-Эньян, отвечай так, как если бы дело касалось кого-либо другого, а не тебя. Прав он или не прав?

– Пусть судит об этом ваше величество.

– Что ты сделал ему?

– О, ему ничего. Но, по-видимому, одному из его друзей.

- Это то же, что ему самому, а его друг – один из четырех знаменитых?
- Нет, это сын одного из четырех знаменитых, всего-навсего сын.
- Но что же ты сделал ему?
- Я помог одному лицу отнять у него возлюбленную.
- И ты признаешься в этом?
- Нужно признаваться, раз это правда.
- В таком случае ты виноват.
- Значит, я виноват?
- Да, и по правде сказать, если он прикончит тебя...
- Ну?
- То будет прав.
- Ах, вот вы как рассудили, ваше величество?
- А ты недоволен моим решением?
- Я нахожу, что оно слишком поспешно.
- Суд скорый и правый, как говорил мой дед Генрих Четвертый.
- В таком случае пусть король сейчас же подпишет помилование моему противнику, который ждет меня близ Меньших Братьев, чтобы убить меня.
- Его имя и лист пергамента.
- Ваше величество, пергамент – на вашем столе, а что касается имени...
- Что же касается его имени?
- То это виконт де Бражелон, ваше величество.
- Виконт де Бражелон! – воскликнул король, переходя от смеха к глубокой задумчивости. Затем, после минутного молчания, он вытер пот, выступивший на его лбу, и невнятно пробормотал:
- Бражелон!
- Ни больше ни меньше, ваше величество.
- Бражелон, жених...
- Боже мой, да! Бражелон, жених...
- Но ведь Бражелон находится в Лондоне?
- Да, но ручаюсь вам, ваше величество, сейчас он там уже не находится.
- И он в Париже?
- Точнее сказать, близ монастыря Меньших Братьев, где, как я имел честь доложить, он ожидает меня.
- Зная решительно все?
- И многое другое сверх этого! Быть может, ваше величество желаете взглянуть на послание, которое он мне оставил?
- И де Сент-Эньян вытащил из кармана уже известную нам записку Рауля.
- Когда ваше величество прочтете эту записку, я буду иметь честь сообщить, каким образом я ее получил.
- Король, явно волнуясь, прочел записку и сразу спросил:
- Ну?
- Ваше величество знаете некий замок чеканной работы, замыкающий некую дверь черного дерева, которая отделяет некую комнату от некоего бело-голубого святилища?
- Разумеется, от будуара Луизы?
- Да, ваше величество. Так вот, в замочной скважине этой двери я и нашел записку. Кто всунул ее туда? Виконт де Бражелон или дьявол? Но так как записка пахнет амброю, а не серой, я решил, что это сделано, очевидно, не дьяволом, а господином де Бражелоном.
- Людовик склонил голову и грустно задумался. Быть может, в этот момент в его сердце шевельнулось что-то вроде раскаяния.

- Ах, – вздохнул он, – значит, тайна раскрыта!
- Ваше величество, я сделаю все от меня зависящее, чтобы она умерла в груди, которая ее заключает, – сказал де Сент-Эньян с чисто испанской отвагой. Он шагнул к двери, но король жестом остановил его.
- Куда вы идете? – поинтересовался он.
- Туда, где меня ждут, ваше величество.
- Для чего?
- Надо полагать, чтобы драться.
- Драться! – вскричал король. – Погодите минуту, граф.
- Де Сент-Эньян покачал головой, как ребенок, недовольный, когда ему мешают упасть в колодец или играть с острым ножом.
- Но, ваше величество...
- Прежде всего, – сказал король, – я еще должным образом не осведомлен.
- О, пусть ваше величество спрашивает, и я разъясню все, что знаю.
- Кто вам сообщил, что господин де Бражелон проник в эту комнату?
- Записка, которую я нашел в замке, о чем я уже имел честь докладывать вам, государь.
- Что тебя убеждает, что это он всунул ее туда?
- Кто другой решился бы выполнить подобное поручение?
- Ты прав. Как же он мог проникнуть к тебе?
- Вот это чрезвычайно существенно, так как все двери были заперты на замок и ключи находились в кармане у Баска, моего лакея.
- Значит, твоего лакея подкупили.
- Невероятно, ваше величество!
- Что же здесь невероятного?
- Потому что, если б его подкупили, он мог бы понадобиться еще не раз в будущем, и бедного малого не стали бы губить, так явно показывая, что воспользовались именно им.
- Правильно. Значит, остается единственное предположение.
- Посмотрим, ваше величество, то ли это предположение, которое возникло и у меня.
- Он проник к тебе, пройдя лестницу.
- Увы, ваше величество, мне кажется это более чем вероятным.
- Значит, все-таки кто-то продал тайну нашего люка?
- Продал или, может быть, подарил.
- Почему такое различие?
- Потому что иные лица стоят так высоко, что не могут продать; они могут лишь подарить.
- Что ты хочешь сказать?
- О, ваше величество обладаете достаточно тонким умом, чтобы самостоятельно догадаться и избавить меня, таким образом, от затруднения назвать...
- Ты прав. Принцесса!
- Ах! – вздохнул Сент-Эньян.
- Принцесса, которая обеспокоена твоим переездом.
- Принцесса, которая располагает ключами от комнат всех своих фрейлин и которая достаточно могущественна, чтобы открыть то, чего, кроме вашего величества и ее высочества, никто не мог бы открыть.
- И ты думаешь, что моя сестра заключила союз с Бра-желоном?
- Да, ваше величество, да...
- И даже сообщила ему все эти тонкости?
- Быть может, она сделала даже больше.
- Больше... Договаривай.

- Быть может, она сама проводила его.
- Куда? Вниз? К тебе?
- Вы думаете, что это невозможно, ваше величество?
- О!
- Слушайте, ваше величество. Вы знаете, что принцесса любит духи?
- Да, эту привычку она переняла у моей матери.
- И в особенности вербену?
- Да, это ее излюбленный запах.
- Так вот, моя квартира благоухает вербеной.

Король задумался, потом, помолчав немного, сказал:

– Почему бы принцессе Генриетте становиться на сторону Бражелона и проявлять враждебность ко мне?

Произнося эти слова, на которые де Сент-Эньян легко мог бы ответить: «женская ревность», король испытывал своего друга, стараясь проникнуть в глубину его души, чтобы узнать, не постиг ли он тайны его отношений с невесткой. Но де Сент-Эньян был незаурядным придворным и не решался по этой причине входить в семейные тайны.

К тому же он был достаточно близким приятелем муз, чтобы не задумываться – и притом весьма часто – над печальной судьбою Овидия, глаза которого пролили столько слез во искупление вины, состоявшей в том, что им довелось увидеть во дворце Августа неведомо что. И так как он обнаружил свою проникательность, доказав, что вместе с Бражелоном в его комнате побывала также принцесса, ему предстояло теперь расплатиться с лихвой за собственное тщеславие и ответить на поставленный прямо и определенно вопрос: «Почему принцесса стала на сторону Бражелона и проявляет враждебность ко мне?»

– Почему? Но ваше величество забываете, что граф де Гиш – лучший друг виконта де Бражелона.

– Я не вижу тут связи.

– Ах, простите, ваше величество! Но я думал, что господин де Гиш также большой друг принцессы.

– Верно! Все ясно. Удар нанесен оттуда.

– А чтобы его отразить, не думает ли король, что следует нанести встречный удар?

– Да, но не такой, какие наносятся в Венсенском лесу, – ответил король.

– Ваше величество забываете, что я дворянин и что меня вызвали на дуэль.

– Это тебя не касается.

– Меня ждут близ Меньших Братьев, ваше величество, и ждут больше часа; и так как в этом виноват я и никто другой, то я навлеку на себя бесчестье, если не отправлюсь туда, где меня ожидают.

– Честь дворянина прежде всего состоит в повиновении королю.

– Ваше величество!..

– Приказываю тебе остаться.

– Ваше величество...

– Повинуйся!

– Как прикажете, ваше величество.

– Кроме того, я хочу расследовать эту историю, хочу дознаться, как посмели с такою неслыханной дерзостью обойти меня, как посмели проникнуть в святилище моей любви. И не тебе, де Сент-Эньян, наказывать тех, кто решился на это, ибо не на твою честь они покусились; моя честь – вот что задето!

– Умоляю ваше величество не обрушивать вашего гнева на виконта де Бражелона; в этом деле он, быть может, погрешил против благоразумия, но в остальном его поведение честно и благородно.

– Довольно! Я сумею отличить правого от виноватого! Мне не мешает в этом даже самый безудержный гнев. Но ни слова принцессе!

– Что же мне делать с виконтом де Бражеолоном? Он будет искать меня и...

– Я поговорю с ним сегодня же или сам, или через третье лицо.

– Еще раз умоляю ваше величество о снисходительности к нему.

– Я был снисходительным достаточно долго, граф, – нахмурился Людовик XIV. – Пришло время, однако, показать некоторым лицам, что у себя в доме хозяин все-таки я!

Едва король произнес эти слова, из которых с очевидностью вытекало, что к новой обиде присоединились воспоминания и о былых, как на пороге его кабинета появился слуга.

– Что случилось? – спросил король. – И почему входят, хотя я не звал?

– Ваше величество, – сказал слуга, – приказали мне раз навсегда впускать к вам графа де Ла Фер, когда у него будет надобность переговорить с вами.

– Дальше?

– Граф де Ла Фер просит принять его.

Король и де Сент-Эньян обменялись взглядами, в которых было больше беспокойства, чем удивления. Людовик на мгновение заколебался, но, почти сразу приняв решение, обратился к де Сент-Эньяну:

– Пойди к Луизе и сообщи ей обо всем, что затевается против нас; не скрывай от нее, что принцесса возобновляет свои преследования и что она объединилась с людьми, которым лучше было бы оставаться нейтральными.

– Ваше величество...

– Если эти вести испугают Луизу, постарайся успокоить ее. Скажи, что любовь короля – непробиваемый панцирь. Если она знает уже обо всем (а я предпочел бы, чтобы это было не так) или уже подверглась с какой-нибудь стороны нападению, скажи ей, де Сент-Эньян, – добавил король, содрогаясь от гнева и возбуждения, – скажи ей, что на этот раз я не ограничусь тем, что буду защищать ее от нападков, я отомщу, и отомщу так сурово, что отныне никто не посмеет даже взглянуть на нее!

– Это все, ваше величество?

– Все. Иди к ней сейчас же и сохраняя верность – ты, живущий в этом аду и не имеющий, как я, надежды на рай.

Де Сент-Эньян рассыпался в изъявлениях преданности. Он приложился к руке короля и, сияя, вышел из королевского кабинета.

## XVIII. Король и дворянство

Людовик тотчас же взял себя в руки, чтобы приветливо встретить графа де Ла Фер. Он догадывался, что граф прибыл сюда не случайно, и смутно предчувствовал значительность этого посещения. Ему не хотелось, однако, чтобы человек таких безупречных манер, такого тонкого и изысканного ума, как Атос, при первом же взгляде заметил в нем нечто, способное произвести неприятное впечатление или выдать, что король расстроен.

И только убедившись в том, что внешне он совершенно спокоен, молодой король велел ввести графа. Спустя несколько минут явился Атос, облаченный в придворное платье и надевший все ордена, которые он один имел право носить при французском дворе. Он вошел с таким торжественным, таким величавым видом, что король, взглянув на него, сразу же получил возможность судить, был ли он прав или ошибся в своих предчувствиях.

Людовик сделал шаг навстречу Атосу и, с улыбкой протянув ему руку, над которою тот склонился в позе полной почтительности, торопливо сказал:

– Граф де Ла Фер, вы такой редкий гость у меня, что видеть вас – большая удача.

Атос поклонился еще раз:

– Я желал бы иметь счастье всегда находиться при вашем величестве.

Этот ответ и особенно тон, которым он был произнесен, означали с полной очевидностью: «Я хотел бы находиться среди советников короля, чтобы оберегать его от ошибок».

Король это почувствовал и, решив обеспечить себе вместе с преимуществом своего положения также и то преимущество, которое порождается спокойствием духа, произнес бесстрастным и ровным голосом:

– Я вижу, что вам нужно поговорить со мной.

– Не будь этого, я не решился бы предстать перед вашим величеством.

– Начинайте же, сударь, мне не терпится удовлетворить вас возможно скорее.

Король сел.

– Я уверен, – слегка волнуясь, ответил Атос, – что ваше величество удовлетворит все мои притязания.

– А, – произнес с некоторым высокомерием в голосе король, – вы пришли ко мне с жалобой?

– Это было бы жалобой, если бы ваше величество... – молвил Атос. – Но разрешите по порядку.

– Я жду.

– Ваше величество помните, что я имел честь беседовать с вами перед отъездом герцога Бекингэма?

– Да, приблизительно в это время... Я помню это... но тему нашей беседы, признаться, я успел позабыть.

Атос вздрогнул.

– Я буду иметь честь напомнить в таком случае королю, что речь шла о разрешении, которое я испрашивал у вас, ваше величество, на брак между виконтом де Бражелоном и мадемуазель де Лавальер.

«Дошли до сути», – подумал король и сказал:

– Да, я помню.

– Тогда, – продолжал Атос, – король был до того милостив и великодушен ко мне и к виконту де Бражелону, что ни одно из слов вашего величества не улетучилось из моей памяти. Я просил у короля разрешения на брак мадемуазель де Лавальер с виконтом де Бражелоном, но король ответил на мою просьбу отказом.

– Это верно, – сухо заметил Людовик.

– Ссылаясь на то, – поспешно добавил Атос, – что невеста не имеет достаточно высокого положения в обществе.

Людовик заставил себя терпеливо слушать.

– Что... у нее нет состояния.

Король глубже уселся в кресле.

– Что она недостаточно знатного происхождения.

Новый нетерпеливый жест короля.

– И не очень красива... – безжалостно закончил Атос.

Последний укол в сердце влюбленного заставил его выйти из должных границ.

– Сударь, – перебил он графа, – у вас прекрасная память!

– У меня всегда хорошая память, когда я имею высокую честь разговаривать с королем, – ответил нисколько не смутившийся граф.

– Итак, я все это сказал! Что же дальше?

– И я благодарил ваше величество за эти слова, так как они доказывали ваше очень лестное для господина де Бражелона внимание.

– Вы, разумеется, помните также, – проговорил король, нажимая на эти слова, – что вы сами были очень не расположены к этому браку?

– Это верно, ваше величество.

– И что вы обращались ко мне с этой просьбою скрепя сердце?

– Да, ваше величество.

– Наконец, я вспоминаю также, потому что у меня почти такая же хорошая память, как у вас, господин граф, что вы произнесли следующие слова: «Я не верю в любовь мадемуазель де Лавальер к виконту де Бражелону». Не так ли?

Атос ощутил удар, но выдержал его.

– Ваше величество, я уже просил у вас извинения, но в этом разговоре заключается нечто такое, что станет понятно только в самом конце его...

– В таком случае переходите к концу.

– Вот он. Ваше величество говорили, что вы откладываете свадьбу для блага господина де Бражелона?

Король промолчал.

– В настоящее время господин де Бражелон так несчастен, что дольше не может ждать и просит вас вынести окончательное решение.

Король побледнел. Атос пристально посмотрел на него.

– И... о чем же просит... господин де Бражелон? – нерешительно произнес король.

– Все о том же, о чем я просил короля во время нашей последней беседы: о разрешении вашего величества на его брак.

Король промолчал.

– Преград для нас больше не существует. Мадемуазель де Лавальер, небогатая, незнатная и некрасивая, все же единственная приемлемая партия для господина де Бражелона, потому что он любит эту особу.

Король крепко сжал руки.

– Король колеблется? – спросил граф все так же настойчиво и так же учтиво.

– Я не колеблюсь... я просто отказываю.

Атос на мгновение задумался, потом очень тихо сказал:

– Я имел честь доложить королю, что никакие преграды не могут остановить господина де Бражелона и решение его неизменно.

– Моя воля – преграда, я полагаю?

– Это самая серьезная из преград. Да будет позволено почтительнейше осведомиться у вашего величества о причине отказа!

– О причине?.. Это что же, допрос? – воскликнул король.

– Просьба, ваше величество.

Король, опершись обоими кулаками о стол, глухо произнес:

– Вы забыли правила придворного этикета, господин де Ла Фер. При дворе не принято расспрашивать короля.

– Это правда, ваше величество. Но если и не принято расспрашивать короля, то все же позволительно высказывать известные предположения.

– Высказывать предположения? Что это значит, сударь?

– Почти всегда предположения подданных возникают вследствие неискренности монарха...

– Сударь!

– И недостатка доверия со стороны подданного, – уверенно продолжал Атос.

– Мне кажется, вы забываетесь, – повысил голос король, поддавшись безудержному гневу.

– Я принужден искать в другом месте то, что надеялся найти у вас, ваше величество.

Вместо того чтобы услышать ответ из ваших собственных уст, я вынужден обратиться за ним к себе самому.

Король встал и резко проговорил:

– Господин граф, я отдал вам все свое время.

Это было равносильно приказанию удалиться.

– Ваше величество, я не успел высказать то, с чем пришел к королю, и я так редко вижу его величество, что должен использовать случай.

– Вы дошли до предположений. Теперь вы переходите уже к оскорблениям.

– О, ваше величество, оскорбить короля! Никогда! всю свою жизнь я утверждал, что короли выше других людей не только положением и могуществом, но и благородством души и мощью ума. И я никогда не поверю, чтобы мой король за своими словами скрывал какую-то заднюю мысль.

– Что это значит? Какую заднюю мысль?

– Я объясню, – бесстрастно произнес Атос. – Если ваше величество, отказывая виконту де Бражелону в руке мадемуазель де Лавальер, имели другую цель, кроме счастья и блага виконта...

– Вы понимаете, сударь, что вы меня оскорбляете?

– Если, предлагая виконту де Бражелону отсрочку, ваше величество только хотели удалить жениха мадемуазель де Лавальер...

– Сударь!

– Я это слышу со всех сторон, ваше величество. Везде говорят о вашей любви к мадемуазель де Лавальер.

Король разорвал перчатки, которые уже несколько минут, стараясь сдержаться, нервно покусывал, и закричал:

– Горе тем, кто вмешивается в мои дела! Я принял решение и разобью все преграды!

– Какие преграды? – спросил Атос.

Король внезапно остановился, как конь, мучимый мундштуком, который дергается у него во рту и рвет губы, и вдруг сказал с благородством, столь же безграничным, как его гнев:

– Я люблю мадемуазель де Лавальер.

– Но это могло бы не помешать вам, ваше величество, – перебил Атос, – отдать ее замуж за господина де Бражелона. Такая жертва была бы достойна монарха. И она была бы по заслугам господина де Бражелона, который уже служил королю и может считаться доблестным воином. Таким образом, король, принеся в жертву свою любовь, мог бы воочию доказать, что он исполнен великодушия, благодарности и к тому же отличный политик.

– Мадемуазель де Лавальер не любит господина де Бражелона, – глухо проговорил король.

– Ваше величество уверены в этом? – молвил Атос, пристально вглядываясь в короля.

– Да. Я знаю это.

– Значит, с недавних пор? Иначе, если бы ваше величество знали это во время моего первого посещения, вы бы взяли на себя труд поставить меня об этом в известность.

– Да, с недавних пор.

– Я не понимаю, – помолчав немного, спросил Атос, – как король мог усладить господина де Бражелона в Лондон? Это изгнание вызывает справедливое удивление со стороны всякого, кто дорожит честью своего короля.

– Кто же говорит о чести своего короля, господин де Ла Фер?

– Честь короля, ваше величество, – это честь дворянства, и когда король оскорбляет одного из своих дворян, когда он отнимает у него хотя бы крупицу чести, он отнимает тем самым крупицу чести и у себя самого.

– Граф де Ла Фер!

– Ваше величество, вы послали виконта де Бражелона в Лондон до того, как стали любовником мадемуазель де Лавальер, или после того, как это совершилось?

Король, окончательно потеряв самообладание, тем более что он чувствовал правоту Атоса, попытался прогнать его жестом, но Атос продолжал:

– Ваше величество, я выскажусь до конца. Я уйду отсюда не раньше, чем сочту себя удовлетворенным вами или своим собственным поведением. Я буду удовлетворен, если вы докажете мне, что вы правы; я буду удовлетворен и в том случае, если представлю вам доказательства, что вы виноваты. О, вы меня выслушаете, ваше величество! Я стар и дорожу всем, что есть истинно великого и истинно сильного в королевстве. Я дворянин, я проливал кровь за вашего отца и за вас и никогда ничего не просил для себя ни у вас, ни у покойного короля. Я никому на свете не причинил зла, и я оказывал королям услуги! Вы выслушаете меня. Я требую у вас ответа за честь одного из ваших преданных слуг, которого вы обманули сознательно, прибегнув ко лжи, или по бесхарактерности.

Я знаю, что эти слова раздражают ваше величество; но нас, нас убивают дела! Я знаю, что вы придумываете мне кару за откровенность; но я знаю и то, о какой каре для вас я буду молить господа бога, когда расскажу ему про ваше вероломство и про несчастье, постигшее моего сына!

Король принялся ходить большими шагами из угла в угол: рука его была прижата к груди, голова напряженно вскинута вверх, глаза горели.

– Сударь, – неожиданно воскликнул Людовик XIV, – если бы я был по отношению к вам королем и ничем больше, вы бы уже понесли наказание, но сейчас я пред вами не более чем человек, и я имею право любить тех, кто любит меня, – ведь это редкое счастье!

– Теперь вы уже не имеете права на это ни как человек, ни как король. Если вы хотели честно располагать этим правом, надо было предупредить об этом господина де Бражелона, а не удалять его в Лондон.

– Полагаю, что мы с вами занимаемся препирательствами, – перебил Атоса король с высокомерием такого величия во взгляде и в голосе, которое он один умел показать в столь критические моменты.

– Я надеялся, что вы все же ответите, – сказал граф.

– Вы узнаете мой ответ, сударь, и очень скоро.

– Вам известны мои мысли на этот счет, ваше величество.

– Вы забыли, сударь, что перед вами король и что ваши слова – преступление!

– А вы забыли, что разбиваете жизнь двух молодых людей. Это смертный грех, ваше величество!

– Уходите немедленно!

– Не раньше, чем скажу следующее: «Сын Людовика Тринадцатого, вы плохо начинаете свое царствование, потому что начинаете его, соблазнив чужую невесту, начинаете его вероломством. Мой род и я сам отныне свободны от всякой привязанности и всякого уважения к вам, в которых я заставил поклясться моего сына в склепе Сен-Дени перед гробницами ваших великих и благородных предков. Вы стали нашим врагом, ваше величество, и отныне над нами лишь один бог, наш единственный повелитель и господин. Берегитесь!»

– Вы угрожаете?

– О нет, – грустно сказал Атос, – в моем сердце так же мало заносчивости, как и страха. Бог, о котором я говорю, ваше величество, и который слышит меня, знает, что за неприкосновенность, за честь вашей короны я и теперь готов пролить кровь, какая только осталась во мне после двадцати лет внешних и внутренних войн. Поэтому примите мои заверения в том, что я не угрожаю ни человеку, ни королю. Но я говорю вам: вы теряете двух преданных слуг, потому что убили веру в сердце отца и любовь в сердце сына. Один не верит больше королевскому слову, другой не верит в честь мужчины и чистоту женщины. В одном умерло уважение к вам, в другом – повиновение вашей воле. Прощайте!

Сказав это, Атос снял с себя шпагу, переломил ее о колено, неторопливо положил оба обломка на пол, поклонился королю, задыхавшемуся от бешенства и стыда, и вышел из кабинета. Людовик, опустив на стол голову, в течение нескольких минут пребывал в этой позе. Затем, овладев собою, он стремительно выпрямился и яростно позвонил.

– Позвать шевалье д'Артаньяна, – приказал он испуганным слугам.

## ХІХ. Продолжение грозы

Наши читатели, несомненно, уже спрашивали себя, как же случилось, что Атос, о котором они так давно не слышали, оказался у короля, попав к нему, что называется, в самый раз. Но ведь ремесло романиста, по нашему мнению, и состоит главным образом в том, чтобы, нанизывая события одно на другое, делать это с железной логикой, и мы готовы ответить на это недоумение.

Портос, верный своему долгу «улаживателя» дел, покинув королевский дворец, встретился с Раулем, как было условлено, близ Меньших Братьев в Венсенском лесу. Передав Раулю со всеми подробностями свой разговор с графом де Сент-Эньяном, он закончил предположением, что король, по всей вероятности, вскоре отпустит своего любимца и де Сент-Эньян не замедлит явиться на вызов Рауля.

Но Рауль, менее легковерный, чем его старый преданный друг, вывел из рассказа Портоса, что если де Сент-Эньян отправился к королю, значит, он сообщит ему о случившемся, и что если он сообщит ему о случившемся, король запретит ему ехать к месту дуэли. Ввиду этих соображений он оставил Портоса в Венсенском лесу на случай, впрочем, мало вероятный, что де Сент-Эньян все-таки прибудет туда. Прощаясь с Портосом, Рауль убеждал его ждать де Сент-Эньяна на этой лужайке самое большее полтора-два часа, но Портос решительно отверг этот совет, расположившись на месте возможного поединка с такой основательностью, словно успел уже врасти в землю корнями. Кроме того, он заставил Рауля пообещать, что, повидавшись с отцом, он немедленно возвратится к себе, дабы его, Портоса, лакей знал, где искать виконта в случае появления де Сент-Эньяна на месте дуэли.

Бражелон отправился прямо к Атосу, который уже два дня находился в Париже. Граф де Ла Фер был осведомлен обо всем письмом д'Артаньяна.

Наконец-то Рауль предстал пред отцом. Протянув ему руку и обняв его, граф предложил ему сесть и сказал:

– Я знаю, виконт, вы пришли ко мне, как приходят к другу, когда страдают и плачут. Скажите же, что привело вас сюда?

Юноша поклонился и начал свой скорбный рассказ. Несколько раз голос его прерывался от слез, и подавленное рыдание мешало ему говорить. Однако он изложил все, что хотел.

Атос, вероятно, заранее составил себе суждение обо всем; ведь мы говорили уже, что он получил письмо д'Артаньяна. Однако, желая сохранить до конца свойственные ему невозмутимость и ясность мысли – черты в его характере почти сверхчеловеческие, – он ответил:

– Рауль, я не верю тому, о чем говорят; я не верю тому, чего вы опасаетесь, и не потому, что люди, достойные доверия, не говорили мне об этой истории, но потому, что в душе моей и по совести я считаю невыносимым, чтобы король оскорбил дворянина. Я ручаюсь за короля и принесу вам доказательство своих слов.

Рауль, мечущийся между тем, что он видел собственными глазами, и своею неколебимою верою в человека, который никогда не солгал, склонился пред ним и удовольствовался тем, что попросил:

– Поезжайте, граф. Я подожду.

И он сел, закрыв руками лицо. Атос оделся и отправился во дворец.

Что происходило у короля – об этом мы только что рассказали: читатели видели, как Атос вошел к королю и как вышел.

Когда он вернулся к себе, Рауль все еще сидел в той же выражающей отчаяние позе. Шум открывающихся дверей и звук отцовских шагов заставили юношу поднять голову. Атос был бледен, серьезен, с непокрытой головой; он отдал свой плащ и шляпу лакею и, когда тот вышел, сел рядом с Раулем.

– Ну, граф, – произнес юноша, грустно покачав головой, – теперь вы уверились?

– Да, Рауль. Король любит мадемуазель де Лавальер.

– Значит, он сознается в этом? – вскричал Рауль.

– Создается, – ответил Атос.

– А она?

– Я не видел ее.

– Но король говорил о ней? Что же он говорил?

– Он говорил, что и она его любит.

– О, вы видите, видите, граф!

И Рауль сделал жест, полный отчаяния.

– Рауль, – снова начал граф, – поверьте мне, я высказал королю решительно все, что вы сами могли бы сказать ему, и мне кажется, я изложил это в простой, но достаточно твердой форме.

– Но что же именно?

– Я сказал, что между ним и нами – полный разрыв, что вы отныне ему не слуга; я сказал, что и я отойду куда-нибудь в тень. Мне остается спросить у вас лишь об одном.

– О чем же, граф?

– Приняли ли вы какое-нибудь решение?

– Решение? Но о чем же?

– Относительно вашей любви и...

– Доканчивайте.

– И мщения. Ибо я опасаясь, что вы жаждете мщения.

– О, любовь!.. Быть может, когда-нибудь позже мне удастся вырвать ее из моего сердца. Я надеюсь, что сделаю это с божьей помощью и опираясь на ваши мудрые увещания. Что же до мести, то я жаждал ее лишь под влиянием дурных мыслей, дурных, ибо настоящему виновнику я отомстить не могу, и я отказался от мести.

– Значит, вы больше не ищете ссоры с господином де Сент-Эньяном?

– Нет, граф. Я послал ему вызов. Если господин де Сент-Эньян примет его, дуэль состоится, если нет, я не стану возобновлять его.

– А Лавальер?

– Неужели вы могли серьезно предположить, что я стану думать о мщении женщине, граф? – сказал Рауль с такою печальной улыбкой, что у Атоса, который столько пережил и был свидетелем стольких чужих страданий, на глаза навернулись слезы.

Он протянул руку Раулю. Рауль живо схватил ее и спросил:

– Значит, вы уверены, граф, что положение безнадежно?

Атос, в свою очередь, покачал головой.

– Мой бедный мальчик! – прошептал он.

– Вы думаете, что я все еще испытываю надежду, и пожалели меня. Самое ужасное для меня – это презирать ту, которая заслуживает презрения и которую я так обожаю! Почему я ни в чем не виноват перед нею? Я был бы счастливее, я простил бы ее.

Атос грустно взглянул на сына. Слова, которые только что произнес Рауль, вырвались, казалось, из собственного сердца Атоса... В этот момент доложили о д'Артаньяне. Его имя прозвучало для Рауля и для Атоса по-разному.

Мушкетер вошел с неопределенной улыбкою на устах. Рауль замолк. Атос подошел к своему другу; выражение его взгляда обратило на себя внимание юноши. Д'Артаньян молча мигнул Атосу; затем, подойдя к Раулю и протянув ему руку, обратился к отцу и сыну одновременно:

– Мы, кажется, утешаем мальчика?

– И вы, неизменно отзывчивый, пришли оказать мне помощь в этом нелегком деле?

Произнося это, Атос обеими руками сжал руку д'Арта-ньяна. Раулю показалось, что и это рукопожатие заключает в себе какой-то особый смысл, не имеющий прямой связи со словами отца.

– Да, – ответил капитан мушкетеров, покручивая усы левой рукой, поскольку правую держал в своей Атос, – да, я прибыл сюда и для этого...

– Бесконечно рад, шевадье, бесконечно рад, и не только утешению, которое вы с собою приносите, но и вам, вам самому! О, я уже утешился! – воскликнул Рауль.

И он улыбнулся такою грустной улыбкой, что она была печальнее самых горестных слез, какие когда-либо видел д'Артаньян.

– Вот и хорошо, – одобрил д'Артаньян.

– Вы пришли, шевадье, в тот момент, когда граф передавал мне подробности своего свидания с королем. Вы позволите графу, не так ли, продолжить рассказ?

Глаза юноши стремились, казалось, проникнуть в глубину души мушкетера.

– Свидания с королем? – спросил д'Артаньян, и притом настолько естественным тоном, что не могло быть и тени сомнения в том, что он искренне изумлен. – Вы видели короля, Атос?

Атос улыбнулся:

– Да, я виделся с королем.

– И вы не знали, что граф видел его величество? – спросил наполовину успокоившийся Рауль.

– Ну конечно, не знал.

– Теперь я буду спокойнее, – проговорил Рауль.

– Спокойнее? Относительно чего же спокойнее? – спросил у Рауля Атос.

– Граф, простите меня, – сказал Рауль. – Но, зная привязанность, которой вы меня удостоиваете, я опасался, что вы, может быть, слишком резко изобразили его величеству мои горести и ваше негодование и что король...

– И что король... – повторил д'Артаньян. – Кончайте вашу мысль, Рауль.

– Простите меня и вы, господин д'Артаньян. На какую-то долю секунды я проникся страхом, признаюсь в этом, при мысли, что вы пришли сюда не как господин д'Артаньян, но как капитан мушкетеров.

– Вы с ума сошли, мой бедный Рауль! – вскричал д'Артаньян, разражаясь хохотом, в котором внимательный наблюдатель пожелал бы увидеть большую искренность.

– Тем лучше, – сказал Рауль.

– И впрямь, вы с ума сошли! Знаете ли, что я посоветую вам?

– Говорите, сударь, ваш совет не может быть плох.

– Так вот, я посоветую следующее: после вашего путешествия, после посещения вами господина де Гиша, после посещения вами принцессы, после посещения вами Портоса, после вашей поездки в Венсенский лес я советую вам немножечко отдохнуть; ложитесь, проспите двенадцать часов и, проснувшись, погоняйте до изнеможения доброго скакуна.

И, притянув Рауля к себе, он поцеловал его с таким чувством, с каким мог бы поцеловать своего сына. Атос также обнял Рауля; впрочем, нетрудно было заметить, что поцелуй отца более нежен и объятия его еще крепче, чем поцелуй и объятия друга.

Юноша снова взглянул на обоих, стараясь всеми силами своего разума проникнуть в их души. Но он увидел лишь улыбающееся лицо д'Артаньяна и спокойное и ласковое лицо графа де Ла Фер.

– Куда вы, Рауль? – спросил Атос, заметив, что виконт де Бражелон собирается уходить.

– К себе, граф, – ответил Рауль задушевным и грустным тоном.

– Значит, там вас и искать, если понадобится что-либо сообщить вам?

– Да, граф. А вы думаете, что вам понадобится что-то сообщать мне?

– Откуда я знаю? – произнес Атос.

– Это будут новые утешения, – усмехнулся д'Артаньян, мягко подталкивая Рауля к дверям.

Рауль, видя в каждом жесте обоих друзей полнейшее спокойствие и невозмутимость, вышел от графа, унося с собою лишь свое личное горе и не испытывая никакой тревоги иного рода.

«Слава богу! – сказал он себе самому. – Я могу думать только о своих делах».

И, завернувшись в плащ, чтобы скрыть от прохожих грусть на лице, он направился, как обещал Портосу, к себе на квартиру.

Оба друга с равным сочувствием посмотрели вслед несчастному юноше. Впрочем, они выразили это по-разному.

– Бедный Рауль! – вздохнул Атос.

– Бедный Рауль! – молвил д'Артаньян, пожимая плечами.

## XX. Горе несчастному!

«Бедный Рауль!» – сказал Атос. «Бедный Рауль!» – сказал д'Артаньян. И Рауль, вызвавший сострадание столь сильных людей, был и вправду очень несчастен.

Простившись с бестрепетным другом и нежным отцом, оставшись наедине сам с собою, Рауль вспомнил о признании короля, признании, похищавшем у него его возлюбленную Луизу, и почувствовал, что сердце его разрывается, как оно разрывалось у всякого, кому довелось пережить нечто подобное, при первом столкновении с разрушенной мечтой и обманутой любовью.

– О, – прошептал он, – все кончено: ничего больше не остается мне в жизни! Мне нечего ждать, не на кого надеяться! Об этом сказал де Гиш, сказал отец, сказал д'Артаньян. Значит, все в этом мире – пустая мечта. Пустой мечтой было и мое будущее, к которому я стремился в течение долгих десяти лет! Союз наших душ – тоже мечта!

Жалким безумцем, вот кем я был, безумцем, грезившим вслух перед всеми, перед друзьями и недругами, чтобы друзей печалили мои горести, недругов – радовали страдания. И мое горе, мое несчастье завтра же навлечет на меня опалу, о которой повсюду станут шушукаться, превратится в громкий скандал. Завтра же на меня начнут указывать пальцем, и лишь позор ожидает меня!

И хотя он обещал Атосу и д'Артаньяну хранить спокойствие, у него вырвалось все же несколько слов, полных глухой угрозы.

– О, если б я был де Вардом, – продолжал свои сетования Рауль, – и вместе с тем обладал гибкостью и силой д'Артаньяна, я бы с улыбкой на устах уверял женщин, что эта коварная Лавальер, которую я почтил своей любовью, не оставила во мне никаких других чувств, кроме досады на себя самого, поскольку ее фальшивые добродетели я принял за истинные; нашлись бы насмешники, которые стали бы льстить королю, избрав меня мишенью своих насмешек; я подстерег бы некоторых из них и обрушил бы на них кару. Мужчины стали бы остерегаться меня, а женщины, после того как я поверг бы к своим ногам каждого третьего из числа моих недругов, – обожать.

Да, это путь, которым подобало бы следовать, и сам граф де Ла Фер не отверг бы его. Ведь и на его долю выпали в молодости немалые испытания. Он не раз и сам говорил мне об этом. И не нашел ли он тогда забвения в вине? Почему бы мне не найти его в наслаждении?

Он страдал так же, как я, а быть может, еще сильнее. Выходит, что история одного – это история всех, – испытание более или менее длительное, более или менее тяжкое. И голос всего человечества – не что иное, как долгий, протяжный вопль.

Но какое дело до чужих страданий тому, кто сам пребывает в их власти? Разве открытая рана в груди другого облегчает зияющую рану в нашей груди? Разве кровь, пролившаяся рядом с нашею, останавливает нашу кровь? Нет, каждый страдает сам по себе, каждый борется со своей мукой, каждый плачет своими собственными слезами.

И в самом деле, чем была для меня жизнь до этого часа? Холодным, бесплодным песком, на котором я бился всегда для других и никогда для себя самого. То за короля, то за честь женщин. Король обманул меня, женщина мною пренебрегла.

О несчастный!.. Женщины! Неужто я не мог бы заставить их всех искупить вину одной их товарки? Что нужно для этого... Не иметь сердца или забыть, что оно есть у тебя, быть сильным даже тогда, когда имеешь дело со слабым; идти напролом и тогда, когда чувствуешь, что все и без того уступают тебе дорогу. Что нужно для достижения этого? Быть молодым, красивым, сильным, храбрым, богатым. Все это есть у меня или в скором времени будет.

Но честь? Что же есть честь? Понятие, которое всякий толкует по-своему. Отец говорит: «Честь – это уважение, воздаваемое другим и прежде всего себе самому». Но де Гиш, но Мани-

кан и особенно Сент-Эньян сказали бы мне: «Честь заключается в том, чтобы служить страстям и наслаждениям своего короля». Блюсти подобную честь и выгодно, и легко. С такую честью я могу сохранить свою придворную должность, быть офицером, получить отличный во всех отношениях полк. С такой честью я могу стать герцогом и пэром Французского королевства.

Тень, брошенная на меня этой женщиной, страдания, которыми она разбила мне сердце, сердце Рауля, ее друга детства, не должны трогать господина де Бражелона, хорошего офицера, отважного воина; он покроет себя славой в первой же битве и поднимется во сто крат выше, чем мадемуазель де Лавальер, любовница короля; ведь король не женится на Лавальер, и чем громче он будет называть ее своей возлюбленной, тем плотнее станет завеса стыда, которой он окружает ее; и по мере того как будет расти презрение к ней и ее начнут презирать, как я ее презираю, будет расти и шириться моя слава.

Увы! Мы шли вместе – она рядом со мной; так миновали мы первую, самую прекрасную, самую пленительную часть нашей жизни. Мы шли, взявшись за руки, по прелестной тропе, полной юности и цветов. И вот мы оказались на перекрестке; здесь она расстается со мной, и каждый пойдет своею дорогой, все больше и больше отдаляясь один от другого. И остальной путь мне придется шагать одному. Господи боже, как я одинок, я повержен в отчаяние, я раздавлен! О я, несчастный!..

Рауль все еще пребывал во власти этих горестных размышлений, когда нога его машинально переступила порог его дома. Он пришел сюда, не замечая улиц, которые проходил, не зная, как он все-таки добрался к себе. Толкнув дверь, он так же бессознательно прошел дальше и поднялся по ступенькам лестницы.

Как в большинстве домов того времени, на лестнице и на площадках было темно. Рауль занимал квартиру в первом этаже; он остановился и позвонил. Появившийся на звонок Оливен принял из его рук шпагу и плащ. Рауль отворил дверь, которая вела из передней в богато обставленную гостиную; благодаря стараниям Оливена, знавшего вкусы своего хозяина, она утопала в цветах. К чести Оливена надо добавить, однако, что его мало заботило, заметит ли молодой господин этот знак внимания с его стороны.

В этой гостиной находился портрет Лавальер, нарисованный ею самой, – когда-то она подарила его Раулю. Этот портрет, висевший над большим, крытым темным шелком диваном, сразу же привлек к себе взор бедного юноши, и к нему-то он прежде всего и направился. Впрочем, Рауль действовал по привычке: всякий раз, как он возвращался домой, этот портрет раньше всего остального притягивал к себе его взгляд. И сейчас, как всегда, он подошел к нему и принялся печально смотреть на него. Так он смотрел и смотрел на изображение Лавальер; руки его были скрещены на груди, голова чуть откинута назад, взгляд слегка затуманился, но оставался спокойным, вокруг рта легли скорбные складки.

Он всматривался в это обожаемое лицо. Все, что он только что передумал, снова пронеслось в его памяти, все, что он выстрадал, снова хлынуло в его сердце, и после длительного молчания он в третий раз прошептал:

– О я, несчастный!

В ответ на эти слова за его спиной раздался жалобный вздох. Порывисто обернувшись, он увидел в углу гостиной какую-то женщину, которая стояла понурившись и лицо которой было скрыто вуалью. Входя, он заслонил ее дверью и не заметил ее присутствия, так как до этого ни разу не оторвал глаз от портрета.

Он подошел к этой женщине, о которой никто ему не докладывал, с учтивым поклоном и готов был уже обратиться с вопросом, что ей, собственно, нужно, как вдруг опущенная голова поднялась, вуаль откинулась, и он увидел бледное лицо, выразившее глубокую скорбь.

Рауль отшатнулся, точно перед ним стоял призрак.

– Луиза! – вскричал он с отчаянием в голосе, и трудно было поверить, что человеческое существо могло издать такой ужасающий крик и что при этом не разорвалось сердце кричавшего.

## XXI. Рана на ране

Мадемуазель де Лавальер (ибо это была она) сделала шаг вперед.

– Да, Луиза, – прошептала она.

Но в этот промежуток времени, как бы краток он ни был, Рауль успел взять себя в руки.

– Вы, мадемуазель? – спросил он и непередаваемым тоном добавил: – Вы здесь?

– Да, Рауль, – повторила девушка, – да, я ждала вас.

– Простите меня: когда я вошел, я не знал...

– Да, я просила Оливена не докладывать вам...

Она замолкла, и так как Рауль не торопился заговорить, на мгновение наступило молчание, в котором можно было услышать биение двух сердец, колотившихся хотя и не согласно друг с другом, но одинаково бешено.

Луиза должна была начать. Она сделала над собой усилие и произнесла:

– Мне нужно переговорить с вами; мне совершенно необходимо повидать вас... наедине... Я не отступила пред шагом, который должен остаться тайной, потому что никто, кроме вас, господин де Бражелон, не сможет понять его.

– Мадемуазель, – лепетал растерянный и задыхающийся Рауль, – я сам, несмотря на ваше доброе мнение обо мне, я и сам, признаюсь...

– Сделайте милость, сядьте и выслушайте меня, – перебила его Луиза своим ласковым голосом.

Бражелон взглянул на нее, потом грустно покачал головой, сел или, вернее, упал на стул и попросил:

– Говорите.

Она украдкой оглянулась кругом. Этот взгляд был полон мольбы и еще красноречивее выразил ее страх перед разглашением тайны ее прихода, чем только что сказанные ею слова.

Рауль встал, отворил дверь и сказал:

– Оливен, кто бы ни пришел, меня нет дома.

Потом, вернувшись к Лавальер, он спросил:

– Ведь вы этого хотели, не так ли?

Ничто не в состоянии передать впечатление, которое произвели на Луизу эти слова, которые значили: «Вы видите, я все еще понимаю вас».

Она приложила к глазам платок, чтобы стереть непокорную слезу, потом на мгновение задумалась и начала:

– Рауль, не отворачивайте от меня вашего честного и доброго взгляда; вы не из тех, кто презирает женщину только за то, что она кому-то отдала свое сердце, вы не из их числа, даже если эта любовь ее – несчастье для вас и наносит оскорбление вашей гордости.

Рауль ничего не ответил.

– Увы, – продолжала Лавальер, – увы, это верно, мне трудно защищаться перед вами, я не знаю, с чего начать. Погодите, я сделаю лучше: мне кажется, честнее всего будет просто и бесстрастно рассказать обо всем, что случилось со мной. А так как я буду говорить только правду, то среди мглы колебаний, среди бесконечных препятствий, которые мне нужно преодолеть, я все же смогу отыскать прямую дорогу, чтобы облегчить мое сердце, которое заполнено до краев и жаждет излиться у ваших ног.

Рауль промолчал.

Лавальер обратила на него взгляд, который, казалось, молил: «Ободрите меня, из жалости... хотя бы единое слово...»

Но Рауль молчал, и девушке пришлось продолжать:

– Только что у меня был граф де Сент-Эньян с поручением от короля.

Она опустила глаза.

Рауль тоже посмотрел в сторону, чтобы не видеть Луизу.

– Господин де Сент-Эньян пришел с поручением от короля, – повторила она, – и сообщил мне, что вы знаете обо всем.

И она попыталась прямо взглянуть на того, кто вслед за столькими ударами должен был вынести также и этот, но ей не удалось встретиться глазами с Раулем.

– А потом он добавил, что вы гневаетесь, законно гневаетесь на меня.

На этот раз Рауль посмотрел на девушку, и презрительная усмешка искривила его губы.

– О, умоляю вас, – продолжала она, – не говорите, что вы почувствовали в себе еще что-нибудь, кроме гнева! Рауль, дайте мне высказаться, выслушайте меня до конца!

Усилием воли Рауль прогнал морщины со своего лба; складки возле уголков его рта также разгладились.

– И кроме того, – сказала, склонив голову, девушка, со сложенными, как на молитве, руками, – я прошу вас простить меня, я прошу вас об этом как самого великодушного и благородного среди людей! Если я не говорила вам о том, что происходит во мне, я никогда все же не согласилась бы обманывать вас. Умоляю, Рауль, умоляю вас на коленях, ответьте же мне, ответьте хотя бы проклятием! Лучше проклятие ваших уст, чем подозрения вашего сердца.

– Я восхищаюсь вашими чувствами, мадемуазель, – заговорил Рауль, делая над собой усилие, чтобы остаться спокойным. – Не сказать о том, что обманываешь, допустимо, но обманывать было бы дурно, и, по-видимому, вы бы не сделали этого.

– Сударь, долгое время я думала, что люблю вас больше всего на свете, и пока я верила в эту свою любовь, я говорила вам, что люблю вас. В Блуа я любила вас. Король побывал в Блуа; и я тогда еще думала, что люблю вас. Я поклялась бы в этом пред алтарем. Но наступил день, открывший мне мое заблуждение.

– Вот в этот день, мадемуазель, зная, что я люблю вас по-прежнему, вы и должны были из чувства порядочности открыть мне глаза, сказать, что разлюбили меня.

– В тот день, Рауль... в тот день, когда я впервые прочла в глубине моего сердца, в тот день, когда я призналась себе, что не вы заполняете все мои помыслы, в тот день, когда я увидела пред собой иное будущее, чем быть вашей подругой, вашей возлюбленной, вашей женой, в тот день, Рауль, – увы! – вас не было возле меня.

– Вы знали, где я, мадемуазель. Вы могли написать.

– Я не посмела, Рауль. Я испугалась. Чего вы хотите? Я знала вас, я знала, что вы меня любите, и я трепетала при одной только мысли о том страдании, которое я причинила бы вам. И поверьте, Рауль, что я говорю вам сущую правду, поверьте, что теперь, когда я произношу эти слова, склоненная перед вами, с сердцем, зажатым в тиски, голосом, полным стонаний, с глазами, полными слез, поверьте – и это так же верно, как то, что моя единственная защита – искренность, что я не ощущаю иного страдания, кроме того, что читаю в ваших глазах.

Рауль попытался изобразить улыбку.

– Нет, – сказала с глубоким убеждением девушка. – Вы не можете оскорбить меня этим притворством. Вы любите меня, вы были уверены в своем чувстве ко мне, вы не обманывали себя, вы не лгали своему сердцу, тогда как я...

И, бледная, заломив над головой руки, она упала пред ним на колени.

– Тогда как вы, – перебил ее Рауль, – вы говорили, что любите только меня, а любили другого!

– Увы, да! Увы, я люблю другого, и этот другой... господи боже! Дайте мне кончить, Рауль, потому что в этом – единственное мое оправдание; этот другой... я люблю его больше жизни, больше самого бога. Простите мою вину или покарайте мою измену, Рауль. Я пришла не для того, чтобы оправдываться, а для того, чтобы спросить: знаете ли вы, что такое любовь? И вот, я люблю так, что могу отдать жизнь и душу тому, кого я люблю. Если он перестанет

любить меня, я умру от отчаяния, разве что бог ниспошлет мне поддержку, разве что спаситель сжалится надо мной. Я в вашей воле, Рауль, какой бы она ни была; я здесь для того, чтобы умереть, если вы пожелаете моей смерти. Убейте меня, Рауль, если в глубине своего сердца вы считаете меня достойной этого.

– Просит смерти только та женщина, которая может дать обманутому любовнику лишь свою кровь, и ничего больше.

– Вы правы, – молвила она.

Рауль глубоко вздохнул:

– И ваша любовь такова, что вы не в силах отказаться от нее?

– Да, я люблю, и люблю именно так; люблю и не хочу никакой любви, кроме этой.

– Итак, – сказал Рауль, – вы действительно сообщили мне обо всем, что я хотел знать.

А теперь, мадемуазель, теперь я, в свою очередь, прошу вас о прощении; ведь я чуть было не стал помехою вашей жизни, ведь я виноват пред вами и, ошибаясь, помогал ошибаться и вам.

– О столь многом я не прошу вас, Рауль! – воскликнула Лавальер.

– Вина целиком на мне, – продолжал Рауль, – я лучше вашего знал о трудностях жизни, и мне следовало открыть вам глаза; мне следовало внести полную ясность в отношения между нами, мне следовало заставить заговорить ваше сердце, а я едва добился, чтобы заговорили ваши уста. Повторяю вам, мадемуазель, прошу вас простить меня.

– Это невысказанно, совершенно невысказанно! Вы издеваетесь надо мной!

– Как это?

– Да, невысказанно! Нельзя быть таким хорошим, таким необыкновенным, таким безупречным.

– Погодите, – остановил ее Рауль с горькой усмешкой, – еще немного, и вы скажете, может быть, что я не любил вас любовью мужчины.

– О, вы любите меня, вы любите нежною братской любовью! Позвольте мне сохранить эту надежду, Рауль.

– Нежною братской любовью? О, не обманывайтесь, Луиза. Я люблю вас, как любит любовник, как муж, я любил вас нежнее всех тех, кто вас любит или будет любить.

– Рауль! Рауль!

– Братской любовью? О, Луиза, я любил вас так, что отдал бы за вас всю свою кровь, каплю за каплей, всю свою плоть, клочок за клочком, вечность, ожидающую меня за гробом, мгновение за мгновением.

– Рауль, Рауль! Сжальтесь!

– Я любил вас так, что мое сердце мертво, что моя вера колеблется, что глаза мои угасают. Я любил вас так, что теперь все для меня пустыня – и на земле и на небе.

– Рауль, Рауль, друг мой, умоляю вас, пощадите меня! – воскликнула Лавальер. – О, если б я знала!..

– Слишком поздно, Луиза! Вы любите, вы счастливы. Я вижу заполняющую вас радость сквозь слезы на ваших глазах. За слезами, которые проливает ваша порядочность, я ощущаю вздохи, порождаемые вашей любовью. О, Луиза, Луиза, вы сделали меня несчастнейшим из людей. Уйдите, заклинаю вас! Прощайте, прощайте!

– Простите меня, умоляю, простите!

– Разве я не сделал большего? Разве я не сказал, что люблю вас?

Лавальер закрыла руками лицо.

– А сказать вам об этом в такую минуту, сказать так, как говорю я, – это то же, что прочитать себе в вашем присутствии приговор, осуждающий меня на смерть. Прощайте!

Лавальер хотела протянуть ему руку.

– В этом мире мы не должны больше встречаться, – проговорил Рауль.

Еще немного, и она закричала бы, но он закрыл ей рукою рот. Она поцеловала руку Рауля и потеряла сознание.

– Оливен, – сказал Рауль, – поднимите эту молодую даму и снесите в портшез, который ожидает ее внизу.

Оливен поднял Лавальер. Рауль сделал движение, чтобы броситься к ней, чтобы поцеловать ее в первый и последний раз в жизни, но, сдержав свой порыв, он произнес:

– Нет, это не мое достояние. Я не король Франции, чтобы красть!

И он затворился у себя в комнате, предоставив лакею унести все еще не пришедшую в себя Лавальер.

## XXII. То, о чем догадался Рауль

После ухода Рауля, после восклицаний, которыми Атос и д'Артаньян проводили его, они остались наедине. На лицо Атоса тотчас же возвратилось то самое выражение готовности ко всему, которое появилось на нем, едва вошел д'Артаньян.

– Ну, дорогой друг, что же вы хотите мне сообщить?

– Я?

– Конечно. Ведь не станут же вас посылать без особо важного дела?

Атос улыбнулся.

– Черт подери! – воскликнул д'Артаньян.

– Я помогу вам, друг мой. Король в бешенстве? Разве не так?

– Да, должен признаться, он недоволен.

– И вы пришли?..

– От его имени. Вы правы.

– Чтобы арестовать меня?

– Вы попали в самую точку, друг мой.

– Ну что ж, ничего иного я и не ждал. Поехали!

– Погодите! Какого черта! Куда вы торопитесь!

– Я не хочу вас задерживать, – сказал, улыбаясь, Атос.

– Времени у меня хватит! А разве вам не любопытно узнать, что произошло у нас с королем?

– Если вам угодно рассказать мне об этом, друг мой, я с удовольствием послушаю.

И он указал д'Артаньяну на громоздкое кресло, в котором последний расположился с возможным удобством.

– Видите ли, я охотно сделаю это, – продолжал д'Артаньян, – поскольку наша беседа была достаточно любопытной.

– Слушаю вас.

– Итак, король вызвал меня к себе.

– После моего ухода?

– Вы находились в то время на последних ступенях дворцовой лестницы, как сообщили мне мушкетеры. Я явился. Друг мой, он был не то что красный – он был лиловый. Я еще не знал, что произошло между вами. Я увидел лишь сломанную пополам шпагу, лежавшую на полу.

«Господин д'Артаньян! – вскричал король, увидев меня, – здесь только что был граф де Ла Фер; он наглец!»

«Наглец?!» – воскликнул я с таким выражением, что король сразу умолк.

«Господин д'Артаньян, – продолжал, стиснув зубы, король, – готовы ли вы слушать меня и повиноваться моему приказу?»

«Это мой долг, ваше величество».

«Я пожелал избавить этого дворянина от позора быть арестованным у меня в кабинете, поскольку храню о нем кое-какие добрые воспоминания. Но... вы возьмете карету...»

Я двинулся к дверям.

«Если вам неприятно принимать участие в этом, неприятно арестовывать его, пошлите начальника моей личной охраны».

«Ваше величество, – ответил я, – начальник охраны не нужен, раз я на дежурстве».

«Я не хотел поручать вам столь щекотливое дело, – молвил король ласково, – ведь вы всегда безупречно служили мне, господин д'Артаньян».

«Я не нахожу здесь ничего щекотливого, ваше величество. Я при исполнении служебных обязанностей, вот и все».

«Но я думал, – сказал удивленно король, – что граф давний ваш друг?»

«Будь он мне даже отцом, ваше величество, это не избавило бы меня от несения службы».

Король посмотрел на меня, и мое бесстрастное лицо, очевидно, рассеяло его опасения.

«Итак, вы арестуете графа де Ла Фер?»

«Конечно, ваше величество, если вы мне отдадите подобный приказ».

«Приказ! Я отдаю этот приказ».

Я поклонился.

«Где находится граф, ваше величество?»

«Вы найдете его».

«И арестую, где бы он ни был?»

«Да... но постарайтесь, чтобы это произошло у него на квартире. Если он успел уехать к себе в поместье, выезжайте из Парижа и нагоните его в пути».

Я поклонился снова, но не двинулся с места.

«Что еще?» – спросил нетерпеливо король.

«Я жду, ваше величество».

«Чего же вы ждете?»

«Подписанного вами приказа».

Король, казалось, был недоволен.

И в самом деле, это было новое проявление ничем не обузданной власти, проявление произвола, если уместно употреблять это слово, говоря о самодержавии. Король нехотя взял перо; помедлив немного, он написал:

«Приказываю капитан-лейтенанту моих мушкетеров, шевалье д'Артаньяну, арестовать графа де Ла Фер, где бы он ни нашел его».

Потом он повернулся ко мне. Я ждал с полнейшей невозмутимостью. Должно быть, он увидел в моем спокойствии вызов, потому что поспешно подписал этот приказ и, передавая его в мои руки, вскричал:

«Идите!»

Я повиновался, и вот я у вас.

Атос пожал руку своего старого друга и произнес:

– Ну что же? Идем!

– Разве вам не требуется привести в порядок дела, прежде чем покинуть при таких обстоятельствах вашу квартиру?

– Мне? Нет, не требуется.

– Как же так?

– Господи боже! Вы же знаете, д'Артаньян, что я всегда смотрел на себя как на простого путника на земле, готового отправиться на край света по приказу моего короля, готового перейти из этого мира в будущий по велению моего бога. Что еще требуется человеку, который предупрежден заранее? Дорожный баул или гроб. И сегодня я готов, как всегда. Везите ж меня!

– А Бражелон?

– Я воспитал его в тех же принципах, которыми руководствовался сам на протяжении своей жизни, и вы должны были заметить, что, увидев вас, он сразу же догадался о причинах вашего посещения. Мы сбили его на некоторое время со следа, но, будьте уверены, он достаточно подготовлен к моей опале, чтобы она могла чрезмерно его устроить. Идем!

– Идем, – спокойно сказал д'Артаньян.

– Друг мой, сломав свою шпагу у короля и бросив ее обломки у его ног, я, по-видимому, свободен от обязанности вручить ее вам?

– Вы правы. А впрочем, на кой черт мне нужна ваша шпага?

– Как мне идти, перед вами или за вами?

– Надо идти со мной под руку, – молвил д'Артаньян.

Он взял графа де Ла Фер под руку и вместе с ним спустился с лестницы. Так они прошли до подъезда.

Гримо, который встретился им в прихожей, посмотрел на них с беспокойством. Он достаточно хорошо знал жизнь и подумал, что тут не все ладно.

– Ах, это ты, Гримо? – сказал Атос. – Мы уезжаем...

– Покататься в моей карете, – перебил его д'Артаньян, сопровождая свои слова дружеским кивком, предназначенным для слуги.

Гримо ответил гримасой, которая, по-видимому, должна была изображать улыбку. Он проводил обоих друзей до кареты. Атос вошел в нее первым, д'Артаньян вслед за ним, не сказав, впрочем, кучеру, куда ехать. Этот обыденный и ничем не примечательный отъезд Атоса и д'Артаньяна не вызвал никаких толков в квартале. Когда карета выехала на набережную, Атос нарушил молчание:

– Вы, я вижу, везете меня в Бастилию?

– Я? – удивился д'Артаньян. – О нет, я везу вас туда, куда вы сами пожелаете ехать, и никуда больше.

– Как так? – спросил озадаченный этим ответом Атос.

– Черт подери! Вы очень хорошо понимаете, дорогой граф, что я взял на себя поручение короля исключительно ради того, чтобы вы могли поступить по своему усмотрению. Не думаете же вы в самом деле, что я вот так просто, без раздумий, возьму и посажу вас в тюрьму! Если б я не предусмотрел всего наперед, я бы предоставил действовать начальнику королевской охраны.

– Итак? – заключил Атос.

– Итак, повторяю вам, мы едем туда, куда вы сами пожелаете ехать.

– Узнаю вас, друг мой, – сказал Атос, заключая д'Артаньяна в объятия.

– Черт возьми! Все это представляется мне чрезвычайно простым. Кучер доставит вас к заставе Кур-ла-Рен; там вы найдете коня, которого я велел держать для вас наготове; на этом коне вы проскачете три почтовых станции не останавливаясь. Что до меня, то я между тем вернусь к королю, чтобы сообщить о вашем отъезде, и сделаю это только тогда, когда догнать вас будет уже невозможно. Затем вы достигнете Гавра, а из Гавра переправитесь в Англию. Там вы найдете уютный домик, подаренный мне моим другом Монком, не говоря уже о гостеприимстве, которое вы встретите со стороны короля Карла. Что вы можете возразить против этого плана?

– Везите меня в Бастилию, – улыбнулся граф.

– Вы упрямец! Но прежде все же подумайте.

– О чем?

– О том, что вам больше не двадцать лет. Поверьте, друг мой, я говорю, ставя на ваше место себя самого. Тюрьма для людей нашего возраста губительна. Нет, нет, я не допущу, чтобы вы зачали в тюрьме. При одной мысли об этом у меня голова идет кругом.

– Друг мой, по счастью, я так же силен телом, как духом. И поверьте, я сохраню эту силу до последнего мгновения.

– Но это вовсе не сила, это – безумие.

– Нет, д'Артаньян, напротив, это – сам разум. Поверьте, прошу вас, что, обсуждая этот вопрос вместе с вами, я нисколько не задумываюсь над тем, угрожает ли вам мое спасение гибелью. Я поступил бы совершенно так же, как поступаете вы, и я воспользовался бы предоставленной вами возможностью, если бы считал для себя приличным бежать. Я принял бы от вас ту услугу, которую, при подобных обстоятельствах, и вы, без сомнения, приняли бы от меня. Нет, я слишком хорошо знаю вас, чтобы коснуться этой темы даже слегка.

– Ах, когда б вы позволили мне действовать в соответствии с моим замыслом, – вздохнул д'Артаньян, – уж заставил бы я короля погоняться за вами!

– Но ведь он все же король, друг мой.

– О, это для меня безразлично, и хотя он король, я бы преспокойно сказал ему: «Зато-чайте, изгоняйте, истребляйте, ваше величество, все и вся во Франции и в целой Европе! Вы можете приказать мне арестовать и пронзить кинжалом кого вам будет угодно, будь то сам принц, ваш брат! Но ни в коем случае не прикасайтесь ни к одному из четырех мушкетеров, или, черт подери...»

– Милый друг, – ответил спокойно Атос, – я хотел бы убедить вас в одной-единственной вещи, а именно в том, что я желаю быть арестованным и что я больше всего дорожу этим арестом.

Д'Артаньян пожал плечами.

– Да, это так, – продолжал Атос. – Если б вы отпустили меня, я бы добровольно явился в тюрьму. Я хочу доказать этому юнцу, ослепленному блеском своей короны, я хочу доказать ему, что он может быть первым среди людей только при том условии, что будет самым великодушным и самым мудрым из них. Он налагает на меня наказание, отправляет в тюрьму, он обрекает меня на пытку, ну что ж! Он злоупотребляет своею властью, и я хочу заставить его узнать, что такое угрызения совести, пока господь не явит ему, что такое возмездие.

– Друг мой, – ответил на эти слова д'Артаньян, – я слишком хорошо знаю, что если вы произнесли «нет», значит – нет. Я более не настаиваю. Вы хотите ехать в Бастилию?

– Да, хочу.

– Поедем! В Бастилию! – крикнул д'Артаньян кучеру.

И, откинувшись на подушки кареты, он стал яростно кусать ус, что всегда означало, как было известно Атосу, что он уже принял решение или оно в нем только рождается. В карете, которая продолжала равномерно катиться, не ускоряя и не замедляя движения, воцарилось молчание. Атос взял мушкетера за руку и спросил:

– Вы сердитесь на меня, д'Артаньян?

– Я? Чего же мне сердиться? Все, что вы делаете из героизма, я сделал бы из упрямства.

– Но вы согласны со мной, вы согласны, что бог отомстит за меня, разве не так, д'Артаньян?

– И я знаю людей на земле, которые охотно ему в этом помогут, – добавил капитан мушкетеров.

### **XXIII. Три сотрапезника, крайне пораженные тем обстоятельством, что сошлись вместе за ужином**

Карета подкатила к первым воротам Бастилии. Часовой велел кучеру остановить лошадей, но нескольких слов д'Артаньяна было достаточно, чтобы ее пропустили в крепость.

И пока ехали по широкой сводчатой галерее, ведущей во двор коменданта, д'Артаньян, рысьи глаза которого видели решительно все, и даже сквозь стены, неожиданно вскрикнул:

– Что я вижу, однако!

– Что же вы видите, друг мой? – невозмутимо спросил Атос.

– Посмотрите в том направлении.

– Во двор?

– Да, и поскорее.

– Ну что ж, там карета, и в ней привезли, надо думать, такого же несчастного арестанта, как я.

– Это было бы чрезвычайно забавно.

– Вы говорите загадками, дорогой друг.

– Поспешите взглянуть еще раз, чтобы увидеть, кто выйдет из этой кареты.

Именно в это мгновение второй часовой снова остановил д'Артаньяна, и, пока выполнялись формальности, Атос имел возможность разглядеть на расстоянии ста шагов человека, на которого ему указывал капитан мушкетеров.

Этот человек выходил из кареты у самых дверей управления коменданта.

– Ну, – торопил д'Артаньян, – вы его видите?

– Да, это человек в сером платье.

– Что же вы скажете по этому поводу?

– То, что я знаю о нем не слишком уж много; повторяю, это человек в сером платье, покидающий в данную минуту карету, вот и все.

– Я готов биться об заклад! Это – он.

– Кто же?

– Арамис.

– Арамис арестован? Немыслимо!

– Я вовсе не утверждаю, что он арестован; ведь он один, никто не сопровождает его, и к тому же он приехал на своих лошадях.

– В таком случае что он тут делает?

– О, он коротко знаком с господином Безмо, комендантом Бастилии, – сказал д'Артаньян, и в тоне его почувствовалась досада. – Черт подери, мы приехали в самое время.

– Почему?

– Чтобы встретиться с ним.

– Что до меня, то я весьма сожалею об этом. Во-первых, потому, что Арамис огорчится, увидав меня при таких обстоятельствах, и, во-вторых, его огорчит, что мы увидели его здесь.

– Ваше рассуждение безупречно.

– К несчастью, когда встречаешься с кем-нибудь в этой крепости, отступить невозможно, сколько бы ты ни желал избегнуть свидания.

– Послушайте, Атос, мне пришла в голову мысль: нужно избавить Арамиса от огорчения, о котором вы только что говорили.

– Но как это сделать?

– Я вам сейчас расскажу... а впрочем, предоставьте мне объяснить ему наше посещение крепости на мой собственный лад; я отнюдь не побуждаю вас лгать, для вас это было бы невыполнимо.

– Но что же я должен сделать?

– Знаете что, я буду лгать за двоих; с характером и повадками уроженца Гаскони это не так уж трудно.

Атос рассмеялся. Карета остановилась у того же подъезда, где и карета, доставившая Арамиса, то есть, как мы уже указали, у порога управления коменданта.

– Итак, решено? – вполголоса спросил д'Артаньян, обращаясь к Атосу.

Атос выразил свое согласие кивком головы. Они стали подниматься по лестнице. Если кого-нибудь удивит, что д'Артаньян и Атос с такою легкостью проникли в Бастилию, то мы посоветуем такому читателю вспомнить, что при въезде, то есть у наиболее тщательно охраняемых крепостных ворот, д'Артаньян сказал часовому, что привез государственного преступника, тогда как у третьих ворот, то есть уже во внутреннем дворе крепости, он ограничился тем, что небрежно бросил: «К господину Безмо».

И часовой тотчас же пропустил их к Безмо. Спустя несколько минут они оказались в комендантской столовой, и первым, кто попался на глаза д'Артаньяну, был Арамис, сидевший рядом с Безмо и ожидавший обеда, лакомый запах которого распространялся по всей квартире.

Если д'Артаньян притворился, что изумлен этой встречей, то Арамису не было надобности изображать изумление: оно было искренним. При виде обоих друзей он вздрогнул и явственно выдал свое волнение.

Атос и д'Артаньян между тем принялись как ни в чем не бывало здороваться с хозяином и Арамисом, и Безмо, удивленный и озадаченный присутствием этих трех гостей, начал всячески обхаживать их.

– По какому случаю? – спросил Арамис.

– С тем же вопросом и мы обращаемся к вам, – ответил ему д'Артаньян.

– Уж не садимся ли мы все трое в тюрьму? – воскликнул Арамис нарочито весело.

– Да, да! – заметил д'Артаньян. – От этих стен и в самом деле чертовски разит тюрьмой.

Господин Безмо, вы, разумеется, помните, что приглашали меня обедать?

– Я?! – вскричал пораженный Безмо.

– Черт возьми! Да вы, никак, с облаков свалились! Неужели вы успели забыть о своем приглашении?

Безмо побледнел, покраснел, взглянул на Арамиса, который, в свою очередь, смотрел на него в упор, и кончил тем, что пробормотал:

– Конечно, я просто в восторге... но... честное слово... я совершенно не помню... Ах, до чего же у меня слабая память!

– Но я, кажется, виноват перед вами, – сказал д'Артаньян с притворным раздражением в голосе.

– Виноваты! Но в чем же?

– В том, что вспомнил о вашем приглашении пообедать. Разве не так?

Безмо бросился к нему и торопливо заговорил:

– Не обижайтесь, дорогой капитан. У меня самая плохая голова во всем королевстве.

Отнимите у меня моих голубей и мою голубятню – и я не стою самого последнего новобранца.

– Наконец-то вы, кажется, начали вспоминать, – произнес заносчиво д'Артаньян.

– Да, да, – ответил нерешительно комендант, – вспоминаю.

– Это было у короля. Вы мне сказали – не знаю уж что – про ваши счета с господами

Лувьером и Трамбле.

– Да, да, конечно.

– И про благоволение к вам господина д'Эрбле.

– А! – вскричал Арамис, устремив пристальный взгляд прямо в глаза несчастного коменданта. – А между тем вы жаловались на свою память, господин де Безмо.

Безмо перебил мушкетера:

– Ну как же! Конечно, вы правы. Я как сейчас вижу себя вместе с вами у короля. Тысяча извинений! Но заметьте, дорогой господин д'Артаньян, и в этот час, и в любой другой, званный или незванный, вы в моем доме – хозяин, вы и господин д'Эрбле, ваш друг, – сказал он, повернувшись к епископу, – и вы, сударь, – с поклоном добавил он, обращаясь к Атосу.

– Я так всегда и считал, – ответил д'Артаньян. – Вот почему я и приехал. Будучи этим вечером свободен от службы в королевском дворце, я решил заехать к вам запросто и по дороге встретился с графом.

Атос поклонился.

– Граф, только что посетивший его величество, вручил мне приказ, требующий срочного исполнения. Мы были совсем близко от вас. Я решил все же повидаться с вами, хотя бы лишь для того, чтобы позвать вам руку и представить вам графа, о котором вы с такой похвалой отзывались у короля в тот самый вечер, когда...

– Прекрасно, прекрасно! Граф де Ла Фер, не так ли?

– Он самый.

– Добро пожаловать, граф.

– И он останется с нами обедать. А я, бедная гончая, я должен мчаться по делам службы. Какие же вы счастливые смертные, вы, но не я! – добавил д'Артаньян, вздыхая с такой силой, с какую мог бы вздохнуть разве только Портос.

– Значит, вы уезжаете? – воскликнули в один голос Арамис и Безмо, которых обрадовала приятная неожиданность.

Это не ускользнуло от д'Артаньяна.

– Я оставляю вместо себя благородного и любезного сотрапезника, – закончил д'Артаньян.

И он слегка коснулся плеча Атоса, которого также удивило внезапное решение д'Артаньяна и который не смог скрыть изумления. Это, в свою очередь, было замечено Арамисом, но не Безмо, так как последний не отличался такой догадливостью, как трое друзей.

– Итак, мы лишаемся вашего общества, – снова заговорил комендант.

– Я отлучусь на час или, самое большее, полтора. К десерту я снова буду у вас.

– В таком случае мы подождем, – пообещал Безмо.

– Не надо, прошу вас. Вы поставите меня в крайне неловкое положение.

– Но вы все же вернетесь? – спросил Атос с сомнением в голосе.

– Разумеется, – сказал д'Артаньян, многозначительно пожимая ему на прощание руку.

И он едва слышно добавил:

– Ждите меня, Атос, будьте непринужденны и, бога ради, не говорите о деле, которое привело нас с вами в Бастилию.

Новое рукопожатие подтвердило графу, что он должен быть молчалив и непроницаем.

Безмо проводил д'Артаньяна до самых дверей.

Арамис, решив заставить Атоса заговорить, осыпал его кучей любезностей, но всякая добродетель Атоса была добродетелью высшей марки. Если б потребовалось, он мог бы сравняться в красноречии с лучшими ораторами на свете; но при случае он предпочел бы скорее умереть, чем произнести хоть один-единственный слог.

Д'Артаньян уехал. Не прошло и десяти минут, как трое оставшихся сотрапезников усадились за стол, ломившийся от самых роскошных яств. Всевозможные жаркие, закуски, соленья, бесконечные вина сменяли друг друга на этом столе, оплачиваемом королевской казной с такой беспримерной щедростью, что Кольбер мог бы легко урезать две трети расходов, и никто в Бастилии от этого не отощал бы.

Только Безмо ел и пил в свое удовольствие. Арамис ни от чего не отказывался; он отве- дывал всего понемножку. Что до Атоса, то после супа и трех необременительных блюд он больше ни к чему не притрагивался.

Разговор был таким, каким может быть разговор между тремя собеседниками столь раз- личного душевного склада, с такими несхожими мыслями и заботами.

Арамис снова и снова возвращался к вопросу о том, по какой странной случайности Атос остался у Безмо, когда д'Артаньяна там не было, и почему тут не было д'Артаньяна, раз оста- вался Атос. Атос постиг ум Арамиса до тонкостей; он знал, что тот вечно что-то устраивает и затевает, вечно плетет сети каких-то интриг; рассмотрев хорошенько своего давнего друга, он понял, что и на этот раз Арамис увлечен весьма важными планами. Вслед за ним и Атос углу- бился в размышления о себе и не раз сам себя спрашивал, почему д'Артаньян столь неужи- данно и поспешно покинул Бастилию, оставив там привезенного им заключенного, без соблю- дения необходимых формальностей.

Но не на этих действующих лицах повести остановим мы наше внимание. Мы покинем их за столом, перед остатками каплунов, дичи и рыбы, изуродованных ножом рачительного Безмо. Мы отправимся по следам д'Артаньяна, который, вскочив в ту же карету, что привезла его вместе с Атосом, крикнул в самое ухо кучеру:

– К королю, и пусть мостовая запыхает под нами!

## XXIV. О том, что происходило в Лувре, пока ужинали в Бастилии

Как мы видели в одной из предшествующих глав, де Сент-Эньян выполнил поручение, которое король дал ему к Лава-льер, но, несмотря на все свое красноречие, он не мог убедить юную девушку в том, что в лице короля у нее достаточно могущественный защитник и что она не нуждается больше ни в чьей помощи.

При первых же словах королевского фаворита, сообщившего о раскрытии ее тайны, Луиза разразилась рыданиями и отдалась своему горю, которое король счел бы оскорбительным для себя, если б мог наблюдать за ним хотя бы уголком глаза. Де Сент-Эньян, выполняя обязанности посла, обиделся за своего господина и вернулся к нему с отчетом обо всем, что видел и слышал. Здесь-то мы и находим его в большом волнении перед еще более взволнованным королем.

– Но что же она наконец решила? – спросил Людовик. – Что же она решила? Увижу ли я ее по крайней мере до ужина? Придет ли она, или мне самому надо отправиться к ней?

– Мне кажется, государь, что если ваше величество желаете увидеться с ней, вам придется сделать не только первый шаг по направлению к ней, но и проделать весь путь.

– Ничего для меня! Выходит, что этот Бражелон ей очень и очень по сердцу? – пробормотал Людовик XIV сквозь зубы.

– О, ваше величество, этого быть не может; мадемуазель де Лавальер любит вас, любит всем сердцем. Ведь вы знаете, что Бражелон принадлежит к той суровой породе людей, которые разыгрывают из себя римских героев.

Король улыбнулся. Он знал, что это значит, – ведь он только что расстался с Атосом.

– Что же касается мадемуазель де Лавальер, то она была воспитана на половине вдовствующей принцессы, то есть уединенно и в строгости. Жених и невеста обменялись клятвами пред луною и звездами, и теперь, государь, чтобы разрушить этот союз, нужен сам дьявол.

Де Сент-Эньян надеялся развеселить короля, но добился обратного – улыбка Людовика сменилась полной серьезностью. Он уже почувствовал то, о чем Атос говорил д'Артаньяну: раскаяние. Он думал о том, что молодые люди любили друг друга и поклялись в верности; что один из них сдержал свое слово, а другая – слишком честна и бесхитростна, чтобы не терзаться из-за своей измены.

И вместе с раскаянием сердце короля уколола ревность. Он не произнес больше ни слова и вместо того, чтобы отправиться к матери, к королеве или к принцессе и немного развлечься и посмешить дам, как он сам говорил об этом, он опустился в широкое кресло, сидя в котором его августейший отец, Людовик XIII, сучал вместе с Барада и Сен-Маром в течение стольких дней.

Де Сент-Эньян понял, что развеселить короля сейчас невозможно. Он решился на крайнюю меру и произнес имя Луизы. Король поднял голову.

– Как ваше величество предполагаете провести вечер? Надо ли предупредить мадемуазель де Лавальер?

– Черт возьми! Она предупреждена, как мне кажется.

– Устроим ли мы прогулку?

– Мы только что возвратились с прогулки, – ответил король.

– Что же мы станем делать, ваше величество?

– Мечтать, де Сент-Эньян, мечтать каждый о своем. Когда мадемуазель де Лавальер достаточно оплачет то, что она оплакивает (в сердце короля все еще говорило раскаяние), тогда, быть может, она соизволит подать нам весть о себе.

– Ах, ваше величество, как можете вы так неверно судить о столь преданном сердце?

Король покраснел от досады, ревность начала мучить его. Де Сент-Эньян понимал, что положение усложняется, как вдруг раздвинулись складки портьеры. Король бросился к двери; первая его мысль была, что принесли записку от Ла-вальер. Но вместо посланца любви он увидел капитана мушкетеров, который молча застыл на пороге.

– Господин д'Артаньян! – сказал он. – Это вы!.. Ну как?

Д'Артаньян посмотрел на де Сент-Эньяна. Глаза короля устремились в ту же сторону, что и глаза его капитана. Эти взгляды были бы ясны для всякого, тем более они были понятны де Сент-Эньяну. Придворный поклонился и вышел. Король и д'Артаньян остались наедине.

– Итак, это сделано? – начал король.

– Да, ваше величество, – серьезным тоном ответил капитан мушкетеров, – сделано.

Король умолк, он не находил нужных слов. Однако гордость не позволяла ему остановиться на сказанном. Если король принял решение, даже несправедливое, ему надо доказать всякому, кто присутствовал при том, как это решение принималось, и особенно себе самому, что он был прав, принимая его. Для этого существует лишь одно безотказно действующее средство, а именно – придумать вину для своей жертвы.

Людовик, воспитанный Мазарини и Анной Австрийской, владел ремеслом короля лучше любого другого монарха. Он и на этот раз постарался представить доказательства этого. После непродолжительного молчания, во время которого он обдумывал про себя все то, что мы только что изложили, он небрежно бросил:

– Что сказал граф?

– Ничего, ваше величество.

– Не дал же он арестовать себя молча?

– Он сказал, что был готов к этому, ваше величество.

Король вскинул голову и надменно произнес:

– Полагаю, что граф де Ла Фер перестал разыгрывать из себя бунтаря?

– Прежде всего, ваше величество, кого вы называете бунтарем? – спокойно спросил мушкетер. – Разве в глазах короля тот, кто не только дает себя запереть в Бастилию, но еще и сопротивляется тем, кто не хочет везти его в эту крепость, бунтарь?

– Тем, кто не хочет везти его в крепость? – воскликнул король. – Капитан, что я слышу? Вы с ума сошли, что ли?

– Не думаю, ваше величество.

– Вы говорите о людях, которые не хотели арестовать графа де Ла Фер?..

– Да, ваше величество.

– Но кто эти люди?

– Очевидно, те, на кого вашим величеством было возложено данное поручение, – сказал мушкетер.

– Но ведь оно было возложено мною на вас, капитан! – закричал король.

– Да, ваше величество, на меня.

– И вы говорите, что, несмотря на мое приказание, вы имели намерение не брать под арест человека, который меня оскорбил?

– Именно так, ваше величество.

– О!

– Больше того, я предложил графу сесть на коня, которого велел приготовить ему у заставы Конферанс.

– С какой целью вы приготовили коня?

– Для того, ваше величество, чтобы граф де Ла Фер мог доехать до Гавра, а оттуда перебраться в Англию.

– В таком случае вы мне изменили, сударь! – воскликнул король в порыве неукротимой ярости.

– Да, государь!

На слова, произнесенные таким тоном, отвечать было нечего. Король встретил настолько упорное сопротивление, что оно поразило его.

– Было ли у вас основание вести себя таким образом, господин д'Артаньян? – величественно спросил Людовик.

– Я никогда не действую без оснований, ваше величество.

– Но этим основанием не была дружба, единственное, что могло бы извинить вас, единственное, что могло бы иметь хоть какой-нибудь вес; ведь ваше положение в этом деле было исключительно благоприятным. Решать было предоставлено вам.

– Мне, ваше величество?

– Разве вы не имели выбора – арестовать графа де Ла Фер или отказаться от этого поручения?

– Да, ваше величество, но...

– Но что? – нетерпеливо перебил д'Артаньяна король.

– Вы предупредили меня, ваше величество, что если я не арестую его, то его арестует начальник охраны.

– Разве я не упростил для вас это дело? Ведь я не понуждал вас брать под арест вашего друга графа.

– Для меня упростили, для моего друга – нет.

– Почему?

– Потому что он был бы все равно арестован либо мною, либо начальником вашей охраны.

– Вот какова ваша преданность, сударь!.. Преданность, которая рассуждает, которая позволяет себе выбирать? Сударь, вы не солдат!

– Я жду, чтобы ваше величество соблаговолили сказать, кто же я.

– Вы – фрондер.

– А так как Фронды больше не существует, то кто же я все-таки, государь...

– Но если то, что вы говорите, – правда...

– Я всегда говорю только правду.

– Для чего же вы явились сюда? Я хочу знать об этом!

– Я пришел сказать королю: государь, граф де Ла Фер в Бастилии...

– Но к этому вы, оказывается, непричастны.

– Это верно. Но раз он там, все же важно, чтоб ваше величество были об этом осведомлены.

– Господин д'Артаньян, вы оказываете неуважение своему королю.

– Ваше величество...

– Господин д'Артаньян, предупреждаю вас, вы злоупотребляете терпением своего короля.

– Напротив, ваше величество.

– Что это значит – напротив?

– Я явился сюда, чтобы вы приказали арестовать и меня.

– Арестовать вас?

– Конечно. Мой друг будет скучать в тюрьме, и я пришел просить ваше величество о разрешении составить ему компанию. Пусть ваше величество произнесет свое слово, и я сам себя арестую, ручаюсь, что для этого начальник охраны отнюдь не понадобится.

Король бросился к письменному столу и схватил перо, чтобы написать приказ о заключении д'Артаньяна в Бастилию.

– Имейте в виду, сударь, что это навеки! – воскликнул он угрожающим тоном.

– Еще бы, – сказал в ответ мушкетер, – после столь похвального поступка вы, разумеется, не посмеете посмотреть мне в глаза.

Король резко отбросил перо:

– Уходите! Уходите немедленно!

– О нет, я останусь, с вашего позволения, государь!

– Что это значит?

– Ваше величество, я пришел спокойно переговорить с королем; к несчастью, король вспылил, но я скажу королю все, что почитаю своим долгом сказать ему.

– В отставку, сударь, в отставку! – вскричал король.

– Вы знаете, ваше величество, что меня не пугает отставка; ведь в Блуа, в тот самый день, когда вы отказали королю Карлу в миллионе, который дал ему после этого мой друг де Ла Фер, я уже обращался к вашему величеству с просьбой об отставке.

– Хорошо; говорите, и покороче!

– Нет, ваше величество, сейчас речь пойдет не об отставке. Вы взяли перо, чтоб отправить меня в Бастилию; почему вы меняете ваше решение?

– Д'Артаньян! Гасконская голова! Кто же из нас король – вы или я?

– К несчастью, ваше величество, вы.

– Что означает ваше «к несчастью»?

– Да, государь, к несчастью, ибо, если бы королем был я...

– Если бы королем были вы, вы бы одобрили бунт шевалье д'Артаньяна, не так ли?

– Разумеется.

– В самом деле? – И король пожал плечами.

– И я сказал бы своему капитану мушкетеров, – продолжал д'Артаньян, – я сказал бы ему, глядя на него человеческими глазами, а не горящими угольями: «Господин д'Артаньян, я забыл о том, что я – король. Я спустился с трона, чтобы оскорбить дворянина».

– Сударь, неужели вы думаете, что, превосходя своего друга в дерзостях, вы умаляете тем самым его вину?

– О, ваше величество, я пойду гораздо дальше его, и в этом повинны вы сами. Я скажу вам то, чего не сказал бы этот наиделикатнейший из людей, государь; вы обрекли на заклятие его сына, и он защищал своего сына; вы обрекли на заклятие и его самого; он говорил с вами во имя чести, религии и добродетели, но вы оттолкнули его, прогнали, посадили в тюрьму. Я буду резче, чем он, и скажу вам: выбирайте, ваше величество! Хотите ли вы иметь возле себя друзей или лакеев; воинов или шаркунов, отвешивающих поклоны? Благородных людей или паяцев? Хотите ли вы, чтобы вам служили или чтобы гнули перед вами шею? Хотите ли вы, чтобы вас любили или чтобы боялись? Если вы отдадите предпочтение низости, интригам, трусости, то напрямик скажите об этом, ваше величество; мы удалимся, мы, единственные остатки бывшего, я скажу больше – единственные живые примеры доблести прежнего времени, мы, которые служили и превзошли, быть может, в мужестве и заслугах людей, обретших славу в потомстве. Выбирайте, ваше величество, не медлите с выбором. Оберегайте настоящих дворян, которые еще остались при вас, а придворных у вас будет более чем достаточно. Поспешите же и отправьте меня в Бастилию вместе с моим старинным и испытанным другом. Ибо если вы не сумели выслушать графа де Ла Фер, то есть наиболее мудрый и благородный голос дворянской чести, если вы не желаете внимать тому, что говорит д'Артаньян, то есть наиболее откровенному и грубому голосу искренности и прямоты, значит, вы никуда не годный король, а завтра станете жалким в своем бессилии королем. Плохих королей ненавидят, жалких королей прогоняют. Вот что я скажу вам, ваше величество. Вы сами повинны в том, что толкнули меня на эти слова.

Похолодевший и смертельно бледный король откинулся в кресле. Было очевидно, что молния, ударившая у его ног, поразила бы его меньше; казалось, что ему не хватает воздуха

и он сейчас задохнется. Грубый голос искренности, о котором говорил д'Артаньян, проник в его сердце, словно клинок.

Д'Артаньян высказал все, что должен был высказать. Понимая гнев короля, он снял с себя шпагу и, почтительно подойдя к Людовику XIV, положил ее перед ним на стол. Но король гневным жестом отбросил шпагу, которая упала на пол и отскочила к ногам д'Артаньяна.

И хотя мушкетер умел владеть собой, как никто, на этот раз он, в свою очередь, побледнел и, дрожа от негодования, произнес:

– Король может подвергнуть солдата опале, может изгнать его, может осудить его на смерть, но, будь он хоть сто раз король, он не имеет права нанести ему тяжкое оскорбление, предав бесчестию его шпагу. Никогда король Франции, государь, не отталкивал от себя с презрением шпагу такого человека, как я. Коль скоро эта шпага поругана – подумайте об этом, ваше величество, – у нее не может быть других ножен, чем ваше сердце или мое. Я выбираю свое, государь; благодарите бога и мое долготерпение!

Потом, выхватив шпагу, он воскликнул:

– Пусть моя кровь падет на вашу голову, ваше величество!

Стремительным жестом он приложил острие шпаги к своей груди, оперев ее эфес об пол. Но король еще более стремительным движением правой руки обнял за шею славного мушкетера, схватившись левой рукой за середину клинка, который он затем в полном молчании вложил в ножны.

Д'Артаньян, бледный, дрожащий и еще не оправившийся от оцепенения, допустил, чтобы король проделал все это. Тогда Людовик, смягчившись, возвратился к столу, взял перо, набросал несколько строк, подписался под ними и протянул д'Артаньяну написанную им бумагу.

– Что это, ваше величество? – спросил капитан.

– Приказ господину д'Артаньяну немедленно освободить графа де Ла Фер.

Д'Артаньян схватил королевскую руку и запечатлел на ней поцелуй; затем, сложив приказ, он сунул его за борт своей кожаной куртки и вышел. Ни король, ни капитан не произнесли при этом ни слова.

– О, человеческое сердце! О, компас монархов! – прошептал, оставшись один, Людовик. – Когда же я научусь читать в твоих сокровенных изгибах так, словно предо мною лежит открытая книга! Нет, я не плохой король, я не жалкий король, но я просто сущий ребенок!

## XXV. Политические соперники

Д'Артаньян, обещавший Безмо возвратиться к десерту, сдержал свое слово. Едва подали коньяки и ликеры, составлявшие гордость комендантского погреба, как в коридоре послышалось звяканье шпор, и на пороге появился капитан мушкетеров.

Атос и Арамис отменно тонко вели игру, и все же ни тому, ни другому не удалось проникнуть в тайны собеседника. Они пили, ели, говорили о Бастилии, о последней поездке в Фонтенбло, о празднестве, которое предполагал устроить у себя в Во Фуке. Разговор все время не покидал общих тем, и никто, кроме Безмо, не коснулся ни разу ничего такого, что могло бы представлять личный интерес для присутствующих.

Д'Артаньян влетел среди общей беседы, все еще бледный и взволнованный своим свиданием с королем. Безмо поторопился придвинуть ему стул. Д'Артаньян залпом осушил предложенный ему комендантом полный стакан вина. Атос и Арамис заметили, что д'Артаньян сам не свой. Не заметил этого лишь Безмо, который видел в д'Артаньяне капитана мушкетеров его величества, и ничего больше, и старался всячески угодить ему. Принадлежать к окружению короля означало, на взгляд Безмо, располагать неограниченными правами. Хотя Арамис и увидел волнение д'Артаньяна, угадать причину его он все же не мог. Только Атос полагал, что знает ее. Возвращение д'Артаньяна и в особенности возбужденное состояние этого всегда невозмутимого человека как бы говорили ему: «Я только что обратился к королю с просьбой, и король отказал мне в ней». Убежденный в правильности своей догадки, Атос усмехнулся, встал из-за стола и сделал знак д'Артаньяну как бы затем, чтобы напомнить ему, что у них есть и другие дела, кроме того, чтобы ужинать вместе.

Д'Артаньян понял Атоса и ответил ему также знаком. Арамис и Безмо, заметив этот немой диалог, вопросительно посмотрели на них. Атос, решив, что пришла пора объяснить действительное положение дел, произнес с любезной улыбкой:

– Истина, господа, заключается в том, что вы, Арамис, только что ужинали в обществе государственного преступника, который к тому же ваш узник, господин де Безмо.

У Безмо вырвалось восклицание, выражавшее и удивление, и одновременно радость. Добрейший Безмо гордился своею тюрьмой. Не говоря уж о выгодах, доставляемых ему заключенными, он был тем счастливее, чем больше их было и чем более знатными они были, тем большей гордостью он проникался.

Что до Арамиса, то, приняв подобающий обстоятельствам вид, он сказал:

– Дорогой Атос, простите меня, но я был, можно сказать, убежден, что произошло именно то, что и взаправду имеет место. Какая-нибудь выходка Рауля или мадемуазель Лавальер, разве не так?

– Увы! – вздохнул Безмо.

– И вы, – продолжал Арамис, – вы, как настоящий вельможа и дворянин, забыв о том, что в наш век существуют только придворные, отправились к королю и выложили ему все то, что думаете о его поведении?

– Вы угадали, друг мой.

– Таким образом, – начал Безмо, дрожа при мысли о том, что он дружески поужинал с человеком, навлекшим на себя немилость его величества, – таким образом, граф...

– Таким образом, дорогой комендант, – сказал Атос, – мой друг, господин д'Артаньян, передаст вам бумагу, которая высовывается из-за борта его кожаной куртки и является, конечно, не чем иным, как приказом о моем заключении.

Безмо привычным жестом протянул руку.

Д'Артаньян и в самом деле вытащил из-за пазухи оба королевских приказа, один из них он протянул коменданту. Безмо развернул бумагу и вполголоса начал читать ее, поглядывая поверх нее на Атоса и останавливаясь время от времени:

– «Приказ содержать в моей крепости Бастилии...» Очень хорошо... «в моей крепости Бастилии... господина графа де Ла Фер». Ах, сударь, какая печальная честь для меня содержать вас в Бастилии!

– У вас будет терпеливый и непритязательный узник, сударь, – заверил Атос своим ласковым и спокойным голосом.

– И такой, который не пробудет у вас и месяца, дорогой комендант, – продолжал Арамис, в то время как Безмо, держа перед собою приказ, переписывал в тюремную ведомость королевскую волю.

– И дня не пробудет, или, вернее, ночи, – заключил Д'Артаньян, предъявляя второй приказ короля, – потому что теперь, дорогой господин де Безмо, вам придется переписать также и эту бумагу и немедленно освободить графа.

– Ах! – вскричал Арамис. – Вы избавляете меня от хлопот, дорогой д'Артаньян.

И он с многозначительным видом пожал руку сперва мушкетеру, потом – Атосу.

– Как! – удивленно спросил Атос. – Король мне возвращает свободу?

– Читайте, дорогой друг, – сказал д'Артаньян.

Атос взял приказ и прочел.

– Да, – кивнул он, – вы правы.

– И вас это сердит? – улыбнулся д'Артаньян.

– О нет, напротив! Я не желаю зла королю, а величайшее зло, какое можно пожелать королям, – это чтобы они творили несправедливость. Но вам это далось нелегко, разве не так? Признайтесь же, друг мой!

– Мне? Отнюдь нет, – повернулся к нему мушкетер. – Король исполняет любое мое желание.

Арамис посмотрел д'Артаньяну в лицо и увидел, что это неправда. Что до Безмо, то он не спускал глаз с д'Артаньяна, в таком восторге он был от человека, заставляющего короля исполнять любое свое желание.

– Король посылает Атоса в изгнание? – спросил Арамис.

– Нет, об этом не было речи; король не произнес этого слова, – сказал д'Артаньян. – Но я думаю, что графу и впрямь лучше всего... если только он не собирается благодарить короля...

– Говоря по правде, не собираюсь, – горько усмехнулся Атос.

– Так вот, я считаю, что графу лучше всего удалиться на время в свой замок, – продолжал д'Артаньян. – Впрочем, Атос, говорите, настаивайте. Если вам приятнее жить где-нибудь в другом месте, я уверен, что добьюсь соответствующего разрешения короля.

– Нет, благодарю вас, дорогой д'Артаньян, – ответил Атос, – для меня нет ничего приятнее, чем вернуться к моему одиночеству, под раскидистые деревья на берегу Луары; если господь лучший целитель душевных ран, то природа – лучшее лекарство от них. Значит, сударь, – обратился Атос к Безмо, – я свободен?

– Да, граф, полагаю, что так; надеюсь по крайней мере, – проговорил комендант, вертя во все стороны обе бумаги, – при условии, разумеется, что у господина д'Артаньяна не припасено еще одного приказа.

– Нет, дорогой господин Безмо, нет, – засмеялся мушкетер, – вам следует держаться второго приказа, и на нем мы с вами поставим точку.

– Ах, граф, – сказал Атосу Безмо, – да знаете ли вы, чего вы лишаетесь? Я назначил бы вам ежедневное содержание в тридцать ливров, как генералам; да что там! – пятьдесят, как положено принцам, и вы бы всякий день ужинали, как поужинали сегодня.

– Уж позвольте мне, сударь, предпочесть мой скромный достаток.

Повернувшись затем к д'Артаньяну, Атос произнес:

– Пора, друг мой.

– Пора, – подтвердил д'Артаньян.

– Не доставите ли вы мне радости быть моим спутником, дорогой друг? – спросил д'Артаньяна Атос.

– Лишь до ворот: достигнув их, я скажу вам то же, что сказал королю: «Я при исполнении служебных обязанностей».

– А вы, дорогой Арамис, – сказал, улыбаясь, Атос, – могу ли я рассчитывать на вас как на спутника: ведь Ла Фер по дороге в Ванн.

– У меня этим вечером, – ответил прелат, – свидание в Париже, и я не могу пренебречь этим свиданием, не нанеся серьезного ущерба весьма важным делам.

– Тогда, дорогой друг, позвольте заключить вас в объятия и удалиться. Господин де Безмо, благодарю вас за вашу любезность и особенно за яства, которыми вы потчуете бастильских узников и с которыми меня познакомили.

Обняв Арамиса и пожав руку Безмо, выслушав от того и другого пожелание счастливо доехать, Атос с д'Артаньяном откланялись и удалились.

Расскажем теперь о том, что произошло в доме Атоса и Рауля де Бражелона в то самое время, когда в Бастилии разыгрывалась развязка сцены, начало которой мы наблюдали в королевском дворце.

Как мы видели, Гримо сопровождал своего господина в Париж и, как мы сказали выше, присутствовал при отъезде Атоса; он видел, как д'Артаньян покусывал ус, он видел, как его господин сел в карету; взглядевшись в лицо того и другого и зная эти лица достаточно долгое время, он понял, несмотря на их внешнюю невозмутимость, что произошло нечто важное.

После отъезда Атоса он принялся размышлять. Он вспомнил, как странно Атос попрощался с ним, вспомнил о том смущении, которое он заметил в хозяине, человеке со столь четкими мыслями и такой несгибаемой волей, смущении, неприметном для всех, но только не для него. Он знал, что Атос не взял с собой никаких вещей, а между тем у него создалось впечатление, что он уезжает не на час и даже не на день. По тону, каким, обращаясь к Гримо, Атос произнес слово «прощай», чувствовалось, что он уезжает надолго.

Все это пришло в голову Гримо одновременно с нахлынувшим на него чувством глубокой привязанности к Атосу, с тем ужасом пред пустотой и одиночеством, которые постоянно занимают воображение тех, кто любит; короче говоря, все эти мысли и ощущения повергли честного Гримо в грусть и посеяли в нем тревогу.

Не найдя, однако, никаких указаний, которые могли бы направить его, не заметив и не обнаружив ничего, что могло бы укрепить в нем сомнения, Гримо отдался своему воображению и стал строить догадки относительно случившегося с его господином. Ведь воображение – это прибежище или, вернее, наказание для сердец, полных привязанности. И впрямь никогда еще не случалось, чтобы человек с привязчивым сердцем представлял себе своего друга счастливым или веселым. И никогда голубь, который пустился в полет, не внушает голубю, оставшемуся на месте, ничего, кроме страха перед ожидающей его участью.

Итак, Гримо перешел от тревоги к страху. Он восстановил в памяти последовательность хода событий: письмо д'Артаньяна к Атосу, письмо, которое так огорчило Атоса, затем посещение Атоса Раулем, посещение, после которого Атос потребовал свой ордена и придворное платье; потом свидание с королем, свидание, после которого Атос воротился домой в таком мрачном расположении духа, далее объяснение отца с сыном, объяснение, после которого Атос с такой грустью обнял Рауля, а Рауль с такой грустью ушел к себе; наконец, появление д'Артаньяна, пощипывающего усы, после чего граф де Ла Фер уехал вместе с д'Артаньяном в карете. Все это в совокупности представляло собою драму в пять актов, достаточно ясную и прозрачную даже для менее искусственных и тонких психологов, чем Гримо.

И Гримо прибег к решительным средствам. Он принялся перетряхивать придворное платье своего господина, чтобы разыскать там письмо д'Артаньяна. Письмо все еще лежало в кармане, и он прочитал следующее:

*«Дорогой друг! Рауль потребовал от меня сведений о поведении мадемуазель де Лавальер во время пребывания нашего юного друга в Лондоне. Я бедный капитан мушкетеров, и уши мои весь день набивают казарменными и альковными сплетнями. Если бы я сообщил Раулю все, что думаю и что слышал, бедный мальчик не вынес бы этого. К тому же я служу королю и не могу обсуждать его поведение. Если сердце велит вам действовать, действуйте. Дело в большей мере затрагивает вас, чем меня, и притом вас почти столько же, сколько Рауля».*

Гримо вырвал у себя полпрядки волос. Он вырвал бы больше, если бы волосы у него были хоть чуточку гуще.

«Вот где, – сказал он себе, – нужно искать разгадку! Мадемуазель натворила неладное. То, что говорят о ней и короле, – сушая правда. Наш молодой господин обманут. Он, наверное, проведал об этом. Граф отправился к королю и высказал ему начистоту все, что думает. Ах, боже мой, граф вернулся без шпаги!»

От этого открытия на лбу у преданного слуги выступил пот. Он больше не размышлял: он нахлобучил на голову шляпу и побежал к Раулю.

После ухода Луизы Рауль успел укротить в себе если не любовь, то страдание и, мысленно оглядывая опасный путь, на который увлекли его безумие и возмущение, сразу увидел своего отца в бессильной борьбе с королем, борьбе, начатой к тому же самим Атосом. В этот момент прозрения несчастный юноша вспомнил таинственные знаки Атоса, неожиданное посещение д'Артаньяна, и его воображению представилось то, чем кончается всякое столкновение между монархом и подданным.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.